

12+

СВЕТЛАНА ЛЕОНТЬЕВА
МОЛВИНЕЦ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Светлана Геннадьевна Леонтьева

Молвинец

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66350186

SelfPub; 2021

Аннотация

В новой книге стихотворений Светланы Геннадьевны Леонтьевой читатель найдёт для себя ответы на важные вопросы современности о судьбе русской женщины в мире, содрогающемся от войн, от пронизывающих время ветров. В книге собраны стихотворения-раздумья о сегодняшнем дне, настоящее показано через призму прошлого, чтобы ответить самой себе на главный, всеобъемлющий вопрос одновременно мягко и ненавязчиво, но непоколебимо и прямо. Здесь впервые публикуется цикл стихотворений «Земля», «Ворота Фиваиды» – это обращение ко всем людям, равнодушным к происходящему, в поэтической форме.

Светлана Леонтьева

Молвинец

А я всех люблю! Всех, кто обидел, простила!
Всех, кого невзначай, невольно, меня простите.
Всех, кто сердце кромсал моё с дикою силой,
чтобы после сшивала его грубой нитью.
Я – как Феникс из пепла, что Феникс до пепла.
У меня ни слова из груди, а кометы.
Я сама от себя, возгораясь, ослепла,
я сама от себя, укричавшись, оглохла,
я сама от себя задыхаюсь – до вздоха,
я сама так умна – что дурёха!
Света! Света...
Снохам
повезёт моим, ибо не жадная вовсе.
И качать буду внуков – мой мальчик, мой кроха!
И укладывать в восемь.
Во вселенском масштабе я мыслю эпохой,
а в космическом мыслю распятием Бога.
Нынче в церкви стояла: и слёзы струились,
где душа – вдоль ожога...
Того самого, где я, что Феникс из пепла,

где, что Феникс до пепла!

О, как руки мои прямо в небо воздеты,
мне до неба полметра!

Успевай только трогать небесные ситцы!

Успевай только гладить небесные бязи!

Всех люблю! Всех прощаю! Вморожены лица
в мои жаркие раны. В душевные казни.

Всё равно я на дно не залягу. А буду
выковыривать рифмы из рваных сосудов,
выцеловывать их изумруды!

И распахивать ящик Пандоры всечасно.

Всемигунтно и ежесекундно. А впрочем
всё равно я согласна, с чем я не согласна,
всё равно я виновна, в чём я не виновна. И точка!

Лишь бы родина, лишь бы мой дом, мои дети
были здесь и всегда. Чтоб, как Феникс из пепла.

И пускай мой огонь им всегда всюду светит
благолепно!

Всем поэтам с глагольной рифмой в гостях,
всем поэтам с глагольной рифмой в кистях,
намывающим мягкое олово фраз,

говорю: «Я подвинусь! Вперёд на Парнас!»

Где Коринфский залив. И Кастальский приют.

Мне глаголы в плечо, как приклад отдают!

Я других узнаю по таким же краям,
этим рваным, кровавым, хорей где и ямб,
редким рифмам там, где миокардовый джут.
Кто меня распекал, я спрошу: «И ты – Брут?» !
Пусть уста мои слово «спасибо» вопят,
всем поэтам, глаголы смыкающим в ряд.
Кому шёлк, кому бязь, кому масло овец,
а поэту поэт – нет, не враг, а творец.
И поэту поэт – клад!
А на этом Парнасе – высокой горе,
а на этом пегасе – чья шкура, как лён,
всяк поэт – это Бродский с мечтой умереть
на Васильевском острове в смуте времён.
Всяк поэт – как Хоттабыч с цветастым зонтом
без дождя при дожде, дождь, как раны на соль.
Всяк поэт обжигает обугленным ртом.
Всяк поэт – это голый король!
И он носит жемчужину в книгах своих:
переливчатый звон у глубокого рва,
в подреберье его, не проникшие в стих,
запекаются насмерть слова.
Всем поэтам с глагольной рифмой – мой сказ.
Всем поэтам с глагольной рифмой – билет,
где казнить будут обезглавленных нас,
эшафот – белый свет.
Умирать-восставать-распекать-растерзать,

вот таков ваш вердикт, вот таков ваш ответ,
но не в этом вам веке казнить за глаза
тет-а-тет!

«Жечь глаголом!» – о, да. Но не "рифмою жечь".
О, не надо, прошу я, с глаголом – глагол!
Это лёгкая рифма, как прут. Нужен меч,
чтобы словом разить. Побеждать, коль пришёл!
О, расцветие рифм не глагольных! Иных!
Их надёжность, бездонность, их Марсов мистраль!
Всяк поэт – о, какой это плач, крик живых!
Всяк поэт – и бессмертье, и сталь!

Для Руси сто веков, я скажу вам, не срок,
это жаркий костёр, что пылает во тьме.
Что во мне (до меня!). До того, как курок
возведён был, до стрел, до копья, до камней!
И до скифского лука, пицалей, секир,
всем, чем шрамы наносятся в спину, в ребро.
А из этих ранений багряных – весь мир
вырастает, и льётся поверх серебро.
А из этих ранений голубки летят,
из глубоких, колодезных зори встают.
Ей отраву дают, зло, исчадия, яд.
Русь святая в ответ: сажень правд, солнца пуд!
Кладовая моя! О, Лилейная, ты!

Для Руси сто потерь, я скажу вам, не крах.
У неё свой обмер. Свой объём высоты.
Как дитя, она космос качает в руках!
Если Пушкин – всегда! Тютчев, Лермонтов, Блок,
Римский-Корсаков, Глинка – таких легион!
Ничего ей – не время. Ничто ей – не срок.
Ничего ей – война. И проклятья вдогон.
У неё есть идея. Она же мечта:
в каждой боли дымиться сквозь пулю и штык.
Её уголь, её пепел, зола, береста,
что в кленовых ковшах. Если вечность ей – миг!
В её пальцах. О, тонкие пальцы её!
О, возможность светиться и переплавлять!
Людам что? Люди молятся за бытие,
хлеб да мясо, за зрелища и за кровать!
И в иступе, испуге и в пьяном хмелю
не о царствии неба под небом вопят.
А я больше и горше Россию люблю,
если трудно ей, если торнадит Пилат.
Но не выколодовать, не сломить, не продать
на Титаник билет ей по сходной цене.
Алтари наши с нами и Божия рать.
Для Руси не огонь даже сотни огней!
И когда я скажу – не залепите рот!
И когда закричу – не содвинете мрак!
Из груди вам не выдернуть мой русский ход.

Если выдержать, то вместе с сердцем. Вот так!

На моей стороне – кто, я знаю всех,
на моей стороне широка броня!
От такой беды... Мне в сугроб осесть,
подкосились ноги тогда у меня!
На моей стороне всё понятно без слов.
Со словами. Без фраз. Улыбаясь. И без.
Бусурмановы гидры
осьми голов
не пройдут сквозь наш многохваткий лес.
На моей стороне воскресает Бог,
а на вашей он много раз распят!
Искорёжен космос моих дорог,
и зияют дыры сквозь волчий взгляд!
На моей стороне никого не купить
ни за тридцать сребреников, ни динар!
И особый отсвет в ладонях нить
Ариадн оставляет всем нашим в дар.
А на вашей, на чёрной, на мутной – блуд,
теле-бред, наживка, по трупам ходьба.
И куда ни пойдёшь, у вас предадут
за печенки, за доллары, за хлеба.
Где же, где эта пропасть, что делит нас,
оставляя зазубрены на челе?

Как она между братьями разлеглась.
Снова Каин – да с шашкой! – воссел в седле.
В чёрных ранах – Танатос, копьё и меч,
в чёрных пулях сверхядерная стыдоба!
А по мне так проще и лучше лечь,
амбразуру накрыв, чем душу продать!
Но отчего же, у наших, у нас
сердце доверчивей из всех сердец?
Грабят. Сжигают.
Рвут мясо, бац –
в кость позвоночную метит подлец!
Вот я читаю: «Царь Менелай
ноющим в прахе Патрокла узрел...»
Значит, больше глотай, узнавай.
Будь захребетней! Таков твой удел.
Смысл я свой знаю, роскошный синдром!
Всю виноградную, пряную снесь!
Вряд ли осилит ваш общий дурдом
наших небес высочайшую твердь!

Я – дочь трудового народа. Клянусь!
Быть. Сбываться. Отстаивать. Защищать!
Мою святую чистейшую Русь.
Её распрекрасие. Стать. Благодать.
От этой злосчастной пустой демократии,

от волчьего щёлканья мин на полях,
на горле, от этих когтей грубых, сжатия,
клянусь, что не дрогну! Не сдамся в боях.
Все плахи – на вынос. Штыки все – на вылет.
Чего вы твердите, что мантру, враги,
что вспороты наши Икаровы крылья?
Что в наших раненьях не видно ни зги?
Что в наших отверстиях от пуль – тьма небесная.
Ни тьма – а высоты!
Ни темень – а свет!
По-вашему лишнее и бесполезное,
ненужно цветастое, пропасть над бездною,
и что нас – вселенских, Атлантовых – нет.
Как Китежа нет. Атлантиды. Бореи.
И что за страна эта – дивная Русь?
Что ищет во всём справедливость? Смешнее
нет поисков. Нету пыльцовой, хмельнее,
молебне, клавишнее и страшнее.
Я – дочь трудового народа, клянусь
раскрасить вновь шёлком из алого ситца
полмира. Полцарства. Жди парус, Ассоль!
Жги –
Русь очерняющих, грязных страницы!
Историю нашу порочащих. Спицы
вставляющих в рёбра! Орущих «jawol»!
Я – дочь трудового народа. Я – соль.

Мой дед был замучен, истерзан в концлагере,
а бабушка с голода пухла в Сибири.
Мы верили в лучшее, ибо мы – факелы.
Мы больше. Мы выше. Мы ноющей. Шире.
Спасительней мы. И творительней в мире.
Запомните наши учения русского!
Уроки истории. Правды. И мускулов.
Ботинок Хрущёва, покажем, мол, кузькину!
И, вправду, клянёмся! Вы миром, что тиром
хотите напичканным мусором, мускусом,
как будто борделью, как будто трактиром
главенствовать, править сквозь вогнутый космос.
Не будет по-вашему. Нет.
Мы клянёмся!

Слово в начале было. Струилось.
Слово свивалось, как бабочка в кокон.
Билось. Как в бубен. В исчадь и стылость.
Слово за слово, как око за око.
Фраза за фразой, гласной, негласной.
Общий фундамент –
святой, праславянский.
Слово – оно архитектор и мастер,
каменщик, плотник, глашатай и пастырь,

кружев орнамент.

Сжальтесь, молю я! Я слово рожаю.

Я пуповину отсекала, отгрызла:

слово вначале на поле, на ржави,

в лоне отчизны!

В лоне вселенной молочные реки,
светлые слёзы, что сжаты до слова.

Нет его в птице – оно в человеке,
нет его в звере, чья поступь песцова,
в дереве, в пластике, в кости тигровой.

Слово царёво. Оно кумачово.

Слово пудово, тесово, толково.

Слово терново!

Душу оно до крови искололо.

И из груди, еженощно сгорая,
вновь возникая, как феникс из пепла,
рваные крылья от края до края
крепнут.

Старше всех стран, всех племён и созвездий,
но кукушонком, где осыпь, где яма
падает, крошится, рвётся о бездну:
«Мама!»

Слово щитом на воротах Царьграда,
взмывом алеющим русского флага,
русскому слову любая громада,
плечи атланта – всё кстати, во благо.

Просто не трогать, где больно, не надо!
Русскому слову я сердце всё – в топку,
словно бумагу.

Руки впаялись в объятья, словно в кириллицу ять!
Не разжать! Не разорвать!

Разве только вместе с руками
моими тебя от меня оторвать.

Руки мои – искрят проводами
в тысячи вольт и ватт!

А я заряжена солью-слезами, русскими сказами, лесом,
полями,

ты мне – мой Авель! Мой брат!

Как отпустить тебя встретиться с Каином:
с Нерусем-воином, что за чертой?

За виноградную, красной окраиной
в разэсэсэриной родине? Стой!

По ноги, под руки кинусь! Буланому
в сбруе серебряной я нашепчу,

чтобы хозяин был с ляхами, паннами
поосторожней! Что меря и чудь –
финно-угорская дюже презлющая!

В мире смешалось всё. Ось сорвалась.
Спицы нам в рёбра натыканы пущами.
Видно, столетьями плавили злость.

Я – на дорогу, на рельсы, на взлётные
полосы тело кидаю своё – удержать!
Кабы могла, то разбила твой сотовый.
Коли не брат – так упала б в кровать!
Нерусь треклятая, жадная, зычная,
(Нерусь бывает и русскоязычная!)
купленная за подачки, борзых,
дачи в Майями, за евро-монеты.
Русь – это больше! Не просто язык!
Русь – это космос и солнца рассветы!
О, как мне нынче ужасно и больно.
Слово, что кость, давит певчее горло.
Словно нутро моё сплющено, смято.
Боже, не дай вам отгять, как я – брата,
зная, что камень у Каина, смерчи,
грады, ракеты, штыки и снаряды,
я не могу, чтобы «аривидерчи»,
«чао-какао»...

Пускай искалечен.
Но возвращайся обратно!

Он помнил все Египетские кошачьи ночи.
Он был кот-зверь, кот-сторож, мышелов, зодчий!
Сколько раз доставалась соседским котам
от него! То уши порвёт, то искушает лапки.

Да что котам, орущим с пеной у рта?

Моего кота боялись даже собаки.

Он себе добывал из моего супа кур,
нанизывал мясо на острые когти.

Если бы я умела рисовать картины в стиле сюрр
или лечить людей, как Болотов в декокте.

Если б умела. Но я не лечебна. И не пишу
пушисто. Так предательски верно.

Так солнечно. Что заточенному карандашу
курится нервно.

Кот пропал в тот день, когда я бросила тебя.

Это было в декабре, в пятницу, тринадцатого.

Мы помирились в первых числах сентября.

Кот вернулся – вальяжно, гарацево.

По-Державински мудро, по-Пушкински так светло,
архидеево, архимедово. О, счастье,
это ты так дразнишь!

Отбираешь. Уводишь. А когда совсем сожгло,
даришь все семь Египетских казней!

Я же тебя выводила из себя

тетрациклином, зелёнкой. Бациллы. Ферменты.

А ты лежал у ног. Я кота, любя,

долго мыла в ванной. Где был он? А где – ты?

Кот орал. Царапался. Таращил глаза.

И однажды совсем не нарочно умер.

И в ту ночь мы поссорились. Так нельзя

ссориться ночью! Неумно, но шумно.

До сих пор мне слышится певучее, мяучее «привет»,
я выхожу на улицу, всем кискам «Виска-с»,
словно нищим на паперти горсть монет.

И тогда я вижу твой серебряный свет
близко!

Всех на суд приглашаю я свой. Да, я жду, приходите!
Это будет в четверг. Или вторник. О, как ноет темя!
Я не помню за что. Но звенит оглашено будильник.
Время!

Время камни собирать. Время класть эти камни в корзины.
Что из ивовых прутьев, из листьев тугих винограда.
Ах, жена вы Троянская, место вам посередине,
Менелай будет в партере, в первом ряду три наяды.
Слишком много шипов и ножей вы мне в сердце кидали,
вдоль эпохи летят, пепелищей, где Троя сгорела.
Этот суд – мой последний. А ваш приговор на металле –
я не помню, чтоб золото кто-то дарил пред расстрелом!
Вы смеётесь, Троянка? Не я вам на сайте, на файле,
на портале вбивала осиновый клин в стиле excel,
я сама против стилей – футболок, заниженных талий,
где улиткой пупок обнажает всю пошлость рефлекса!
Я совсем против всех. Обнимите скорей Менелая!
Здесь в театре абсурда, на рынке тщеславия – густо!

В чём повинна, скажите – чудная, простая, незлая?
Или в том, что пишу не на греческом я, а на русском?
Я бы хлеба поела, ещё бы блинов со сгущёнкой!

Вы хотите мне крылья обрезать и корни заштопать?
Бесполезно, родная! Они отрастут на два счёта,
я могу распустить их, как будто ковёр Пенелопа.

Вы хотите сказать, что украла ваш сон? Ваши чувства?
И слова, что в гнезде желторото орали кукушкой?

Но зубами дракона засеяно поле искусно,
и Латон сторожит золотое руно за опушкой.

Мне совсем не до вас, усыплять ваших псов, вашу стражу,
яд Медеи затух, мёд, как нитка из шёлка, истаял.

И куда ни взгляни – лесть, обман, разношерстье и лажа,
да и в мифах у вас – бесполезно! Лишь выход летальный!

Вы, Троянка, дитя! Вас качает земля колыбельно.
Ваше тело зарыто под тем гаражом, что у моря.

А я харкаю кровью. Я вечному лишь запредельна.
Гильотина – не бог. Да и виселица мне – не горе.

Вот вхожу в этот зал. Отражаюсь во всех фолиантах,
в букинистке, фолио, в библии я Гуттенберга.

За столом третьим – он. Я его узнавала в Атлантах.
Перерезала память! А он просочился с разбега.

О, какой длинный свиток всех нежностей и всех сожже-
ний!

Сопричастий! Касания, молний ударов и сутры!

И созвездье слона (не забыть бы смертельных ранений!),

и созвездье медузы. Но утро! Опять нынче утро!
Оглашайте скорее! В глазах Фаетоновый ужас!
Уползайте змеёй из шершавой, что кожа, заплатки!
Пьют убитые птицы своё отраженье из лужи.
Ах, гарсон, кружку пива! И танец, конечно, мулатки!
Оплачу я! Троянка! За это – созвездье слоновье!
Я считаю слонов. Вижу ваши я голые ноги.
Без колготок, чулок. И какое-то платье тряпье.
Впрочем, что ж я о жизни? Наверно, устала с дороги...
И опять про слона! Он поможет. А вы – про питона.
И ещё про него. Да, он в третьем ряду (лучше – в петлю)!
И покончим скорей. Приговор. Адвокат. Время оно.
Я – бессмертна.

...памяти, места, небес, обладаний твоих,
всё, что имею: познания – дерзкие – тела.
Этих колец годовых и годов световых,
много звенело, летело, желало, горело.
Много стремилось, плелось, разветвлялось, росло,
листья роняло, где все горизонты – слепые.
День моей казни. Ты помнишь, забыл ли число,
как умирать от любви? Умираю впервые!
Как оставаться друзьями со мною – с ребром,
что к твоему позвоночнику крепится люто!
Тридцать серебряных, цену назначишь потом,

долларов, запахов, евро, заплаток, валюты.

Нынче почём Эвересты? И звёзды в ладонь?

Сколько пучок Карфагенов разрушенных? Троей сожжённых?

Если держу на груди, как икону икон
я телефон, где слова твои – бег Фаэтонный?

Ужас в глазах у округлого, нежного «о»,
плач у «люблю» и когтистое эхо над Волгой!

Нет, я не знаю о дружбе почти ничего,
дружба влюблённых, как пытка безвинного поркой.

Ты – мне пальто в гардеробе, а я, мол, мерси,
ручку – в трамвае, ещё шоколад в пирожковой.

Я умерла. Без тебя. Пощади и прости.

Камни в груди. Всей земли. Все вулканы. Все склоны.

Мальчик вон тот, что по тропке, не наш ли он внук?

Старец, с картины сошедший, не наш ли Угодник?

Ножки целую младенчику! И, словно мук,
вод мне не счесть этих детских, мне околоплодных!

О, я же мать всех с тобой не зачатых детей:

Катей, Иришек, Иванов, Данилов, Антонов...

Страстной звездой на небе примята постель
сладостных стонов!

Что вверила в руки твои

Клаасовый пепел у сердца.

Весь космос мне душу скривил,
и кто же тебя подкупил
за несколько жалких сестерций?
Так раб может стоять. Цена:
смех Августу Октавиану
в Помпее. Какого рожна
я нынче пригвождена
к скале, ко кресту и к капкану?
Ужели ты из стихо-дряг,
из шлюшных сетей социальных,
ужель ты из тех, кто предаст
за жалкий кусок премиальный?
Заказчик – всё тот же the best,
вулкан, сжѣгший Рим – исполнитель!
Наивная я! «О, поймите!» –
вопила продажной элите.
А элины – масло и шерсть
на рынок несли. Караваны
текли. Доблесть, слава и блеск
царили – легки и туманны!
Я думала, ты мне – сестра!
А ты – мёртвый город. Продажны
в нём женщины. Я в твоей краже
не лучше, не хуже, не гаже.
Икарами рифма щедра!
Шопеном. Есенинской плахой,

повешенным шарфом, рубахой,
расстрелянным небом в упор.
И файл и портал нынче стёрт.
И клинопись нынче в ожогах,
я выращу ухо Ван Гога.
И – в порт.

Там матросики бродят,
охранники на теплоходе.
Девицам продажным привет!
Наташе, Катюше, Ириске.
Я вся в Прометеевых искрах,
во мне Прометей ранил свет!
Я нынче продажных люблю.
Тебя и простых проституток.
Мне больше ни больно. Ни жутко.
Мне больше никак. По нулю!

О, я знаю
из каких артезианских скважин,
из каких биополей, чаш, ковшей, караваев
наполняюсь по горло, по плечи даже
из каких бездонных, бескрайних. Я знаю!
Из каких веков я цежу эти соки,
по лицу как они, по одежде стекают.
Я пропитана сквозь. Мной пропахли истоки.
Берега и пороги. И вся топь земная.

Золочёные жилы вдоль скважин разверстых,
мировые деревья – дуб, ясень и ели.
В них колядки, стихи, басни, притчи и песни.
Здесь старушки-соседки. О, как они пели!
Голоса их сливались в один общий говор.
Где квадрат моих солнц, где овал моих марсов.
Словно я – оголённый под токами провод.
Как я насмерть ласкаю. Люблю также – насмерть!
Расписная пыльца по ладоням, запястьям,
словно милого письма исторгнуты. Только
не в конверте бумажном, пропитанном страстью,
не в кувшине из глины, разбитом на дольки.
Не в бутылке, что вынес на берег песчаный
океан, что искромсанный острою солью.
Я, как тот наркоман, мак грызу конопляный
вместе с болью.
О, я знаю каких скважин артезианских.
Даже знаю, как ветки я их обрубала,
позвоночники роз, башен вымах Пизанских.
Снова корни росли из кругов моих малых.
И к системе всех мышц, всех моих кровотоков
эти скважины туго подключены слева.
Одиссей точно также смолил свою лодку,
Пенелопа ткала покрывало умело.
Сколько лет? И столетий? Эпох? Двадцать, сорок?
Сколько звёзд полумёртвых втекло в мои льдины?

Вот Чернобыль, вот Сирия, войны, Эбола.
Сколько их не руби – вновь растут пуповины!
Я бы выжила, может.
Да, точно! Но снова
наполняюсь, расту перламутровым миром.
Вы смотрите в глаза, вопрошая: «Здорова ль?»
Но в ответ подрываюсь на поле я минном!

На высоком троне восседатель:
рядом гордость, похвальба, пиар,
хвост собачий вы, а не писатель.
Вы не бились в небо, как звонарь!
Вы – не Данко, лопнувшее сердце
с вырванным кусочком миокард
да под ноги – бейся, плавься, лейся –
всей толпе, весь под ноги Царьград!
В«Милость к павшим», к тем, кто оступился,
сквозь inferно Данте, сквозь себя,
в млечный ход я встраивалась, в листья,
размозжила космос, как заря!
Долго, долго детушки бродили,
ангелы им бусики плели...
Встраивалась в кольца, в тени, спилы,
чтобы оторваться от земли.
Всех жалею – униженных, забытых.

Всех оправдывай и на колени встань!
Кровь, как дождь свою пусти сквозь сито,
сто дождей скрови! Изрежь гортань
о ножи, о стрелы, пули-звуки.
Всё тебе! Насквозь! И зверем вой!
Мой чугунный космос вырван! Ну-ка
встань со мной!
В трёх моих могилах полежи-ка!
Ангелочкам бусики собери!
Встань за друга – русского, калмыка,
за грузина
встань на раз, два, три!
И блуднице той, что на экране,
и продажным выхаркни в лицо
не за почести и не за мани-мани,
за народ святой своё словцо!
Встань за Русь, когда зовёт создатель.
А иначе, коль не вступишь в бой,
хвост собачий ты, а не писатель.
Не о чем мне говорить с тобой!

Хорошо ли тебе заплатили, подруга? Видать, хорошо!
Наши рубли деревянные, медные деньги!
Сердце раздавлено всмятку моё, в порошок,
стёрто на фразы, пословицы, метки и сленги.

Кто не продажен? Не грешен? Тому камень вслед,
списки судов, караванов, оружия, жара и лести.
Век катастроф, век болезней, отъятых побед
тоже проплачен, подкуплен, и торг здесь уместен.
С малого всё начинается. То есть, с себя!

Кто-то торгует умом, кто-то властью, кто телом.
Шлюхи в порту постарели на цент, на динар,
нефть на все баррели, плотности подешевела.
Я же по локоть в своей стихотворной любви!
Дно – золотое. Меня воспитала Покровка!
Если б хватило моих беспощадных молитв,
я бы вернула бесплатный всем сыр в мышеловках.
Всем бы и каждому по золотой, леопардовой гну,
чтобы копытца могли антилопы чеканить
золото, евро, валюту, закат, тишину,
чеки в сбербанках, оплату кредитов в юанях.
В остров утопия я завернула бы мир
Томаса Мора. Безумие страсти Отелло
прямо в рогожу. Простите, о, Вильям Шекспир!
Надо. Для дела!

Вот на ботинках остатки божественных глин,
вот на ногтях слюдяные пески араратов!
Это сменилась эпоха на мёртвую, блин,
капитализмов, а проще – продаж и развратов!
Чревоугодий, безумств, разрушений и дрязг!
Вот уже девки в порту стали бабками дома.

Новые шлюхи. И новый танцует экстаз.
Новая Гера и Зевс новый с высверком грома.
В первый я раз погибаю прилюдно за так.
Ибо подруга меня предала за три песто,
за базилик и за сыр, и за сущий пустяк.
А калькулятор подсчёта, что ось земли, треснул.

Если б стала сегодня в свою родословную
имена я вбивать, страны, Марсы, созвездия,
в середину вплела бы судьбу многотонную
Карамазова Лёшеньки граммами цезия!
Для источника света. Дробления гравия.
В Казахстане, Монголии, в центре Намибии
есть такой минерал! Весь объём, что Италия.
Если б только смогла – родословную выбрала!
Из неправильных – я!
Для камней нет вместилища.
Для гвоздей не держу золочёные ящички.
К амбразуре кидаюсь! Такая вот силища.
И храбра, как никто.
Хоть на вид я изящная.
Я из тех, кто не спит с нелюбимыми, ежели
есть любимый. Хотя без ответа. Такая вот.
Хоть кругом говорят: Залюбили. Занежили.
Заласкали её. Затаскали. Замаяли!

А она, эко диво-то, «натанцевала» всё.
И авто, и квартиру, и бусы из яхонта!
Но другой режиссёр у меня, если надобно,
и осёл, и осётр, и трассёр Ариадновый!
Договор – с гильотинами, петлями, плахами!
Вы поставьте мне «нравится» в толще столетия,
вы поставьте «люблю» всем врагам гуттаперчевым.
Я везде в этом мире рисую отметины,
и благие дожди рвут и оси, и плечи мне!
Моё хобби – ни кража, ни ложь, ни понятия...
Аттестат: среднерусский, обыденный, базовый.
Слава Богу, не я громоздила распятия,
я была занята чтением «Карамазовых»!

Нет, не правда, мы – есть! Нам ли, русским, не быть? Мы повсюду!

Мы в сердцах. Мы в умах. Мы в печёнках, как тот Прометей!

Золотое Руно нам оставило метки повсюду,
(по ночам подношу свои пальцы к лицу, вижу чудо,
там пыльца златорунная светит под кожей моей!)

Нас мечтали изгнать из Болгарии, из Украины,
нам метали вослед злые взгляды, проклятья, мечи,
предрекали нам смерть. Мы – постсмертники – жили. Нам

в спины

густо звёзды врезали. И комья кидали нам глины.
Нас мечтали изжечь, разорвать, разодрать, разлучить.
В Бухенвальде, в Освенциме, в газовых камерах, топках.
Но мы были всегда. Но мы будем. И наш не вмурованный

воплъ

слышен в стенах Кремля. Из варяг прямо в греки все троп-

ки,

что поверх пепелищ и дорог, и иных тайных троп!

Наш исход – это русское пламя, полымя. И это:

Кий, Хорив и сестрица Лебёдушка – скопом, в строку.

Подхрусталие звёзд и вращение мегапланеты.

Собираю я в горсть «Жития» и Слова «О полку»!

И целую причастно, сонатно, прельстительно крохи!

Я рассыпать боюсь мотыльковую эту росу,

наши русские сказы, поверья, присушки и вздохи,

«Голубиную книгу», «Аз, буки», вселенную всю.

А ещё бы – к груди.

А ещё бы – к устам. Вкусно? Сладко?

Малосольно ли? Снежно? Склонившись над каждым ли-

стом,

узнавала исход, изначально, все раны, заплатки.

Все фундаменты. Камни. Все письма. Все знанья. Заклад-

ки

в переливах, во звеньях. Я воздух хватала бы ртом!

Я бы трогала Китеж своими во тьме позвонками.

Находилась в ребре бы Адама. И я информацию бы

познавала, струила тогда пуповинно, кровями – миллионом кровей! Нашей русской всечасной борьбы. И не надо пасьянс! И не надо гадать на кофейных фиолетовых зёрнах. И к бабке не надо. Есть – мы! Вы ещё не видали таких вот бесстрашно упорных. О, как прав был поэт! Да, «мы – скифы»! И нас «тьмы и тьмы»!

Из цикла «ОГНЕННЫЙ ЭЛЛИПС»

Если бы знала, то я научила бы – как!
Не гореть, не сиять, быть не открытой учёными.
Как нам созерцать невозможнейший мрак,
восходить в небесах пепелищами чёрными.
У людей только звёзды, а мне – эллипс твой
плазм горящих, снедающих, плавящих,
трав и листьев сгорающих, шишек и хвой.
Стой!

Опасно врагам и товарищам!

Секретарша в прихожей. Охранник в дверях. В небе – жарыще!

Если б знала, кормила бы знаньями я
и высоким, святым, монастырским, аббатовым.
Траекторий мучительнее, чем кривья:
по-немецки «krivaito», латышски «skiwe»,
криво-косо у нас под Саратовом!

Этот профиль сияющий!

И свет очей!

Огонь любви!

«Заповедник» Сергея Довлатова,

под ногами нет почвы – лишь сгусток ночей,

нет земли – той рябинной, исплаканной!

Умирать на чужбине сложнее всего!

Вот поэтому в космос, в галактику, млея,

распадаясь по-птичьи в своё серебро,

имя вплавив Эдмунда Галлея!

Прячь-не прячь. А яйцо это в кролике. И

прогорит его серая, мягкая шкурка.

Я, как чучела Маслениц на раз, два, три

поджигаюсь сама без костра и окурка.

Всех сподвижников пламя во мне, бунтарей

и огонь этот рыбий, дельфиний, китовый:

Геростратам такое число алтарей

и не снилось, как смертникам выжженной крови.

Астероидов этих – убийц и пройдох,

мой последний возлюбленный, проще – сожитель,

от его изощрённости взял бы да сдох,

как от зависти жаркой сам Джек-Потрошитель.

А по мне плачет остров зимой Алатырь!

О, не надо, не надо, чтоб об руку – руку!

Я тебе повторяю: сожглись вглубь и вширь

все кощеевы зайцы – по паре за штуку.

Все спалились. И даже ладонь на ладонь
не клади. Я – Везувия лав километры.
Дохристосовый путь. Доязыческий стон,
доархейский и доменелайский огонь
в небе – пеплы!

Ах, Елена, прошу тебя, больше не лги – Троя пала!
Камни летели в затылок, сгорали столетья!
Что теперь беды иные со вкусом сандала,
с запахом смерти?
Их драгоценные туши чадят, что Везувий!
Порохом гари, налипшего провода, током разрядов!
Кормчие книги сгорели, и солнце-глазунья
на сковородке небесной плывёт камнепадом.
Жарко, Елена!
О, нет нам пощады в эпохах!
«Четьи-Минеи» прочитаны в новой тетради.
Мир Хасавюртовский жаждущий чистого вдоха,
много цветов, винограда и с маслом оладий.
Карты на небе начерчены: Минска не будет!
Дети взрослеют в подвалах, в обугленных дзотах.
Мир утопичен! В слезах, лживых страстях, во блюде.
Мир – обоюден, прилюден, разыгран на нотах!
Он не убил нас! Он вырастил щит нам на сердце,
домик улиточный, панцирь ракушечной сцепки!

Можно поужинать, выпить, немного согреться,
войн разжигать, о, не вздумай, Елена, соседских!
Не говори: Конь Троянский привязан на жердь – ось зем-
ную,

лучше меня опорочь в пеплах цивилизаций!

И – на костёр! Хоть старуху, а хоть молодую,
чтоб признаваться!

Что Менелай твой погиб! И в Элиде под пеплом
тонет Донбасс. И разверзлись все земли, все Марсы.
Правды взыщи! Восстанавливай!

Кто имя треплет

истин высокое – с теми борись, не сдавайся!

Если разрушено, если распято святое!

То не ропщи, не ищи в людях слабых сочувствий!

Космос пружины так сжал под спиной, под пятою,
что, словно крем он из тубика, нас давит с хрустом.

Прямо на звёзды! На угли сгоревших, изъятых
из обихода планет, городов, стран, поверий!

Но разроссиять нельзя! Как рагречить Троянских,
так невозможно, Елена, нас разэсэсэрить!

Вот пишет он с того света космических лазов,
сгибший супруг твой про комья космической глины.

Компьенский мир так возможен! И Столбовский даже
тот, что со Швецией был заключён триединый.

Будем пророками, будем в Отчизне былинной
в нашем Отечестве! Будем не в нашем, тем паче!

В камне застывшая Троя погибшая гибнет...

Плачь же!

Лоскутное распятие

Если хочешь делиться на мир и войну – не делись!

Это так больно, когда в твоём теле созревшие раны
жаркими букетом цветут – роза, кашка, ирис.

Бьют барабаны!

Гуленьки-гули! Давай поместимся в другой
век! Даже в эру другую, где звёзды в ладонях:
спамит Гомер. Спамят греки. Онлайнна прибой.

Троя – на месте! И мир ещё не телефонен!

О, наши войны лоскутные! Голод, разруха, пожар!

Пахнете евромайданом вы, кровью и потом!

Мы не убиты ещё! Но поранены. Сед, млад и стар.

Свой – свояка.

Брат – на брата.

И скачут галопом!

Где этот горный и где этот чистый был свет?

Где эту тьму вы черпали из нор да из схронов разверстых?

Мы разделились. Кричала, вопила вам вслед:

– Целостным будь, монолитным!

В душе – Ахилесным.

Кто в слепоту раздробился. А кто в глухоту.

Сколько история раз упреждала, учила.

Не научила!

Печеньки с зарядом во рту.

С порохом злато. И деньги с проёмом тротила.

Что там за рифма: дышу-напишу-отомщу?

Что за слова: захотел-угорел-выстрел в спину?

Что там, в котле подавали, какую лапшу?

Вместе с обглоданной коркой кидали в пучину!

Ты за кого, о, Елена Троянская? Или же ты

тоже распалась на тронутых и продающих?

О, не твоё ли последнее тело впаялось в мосты,

Чесму проедешь – ты шёлком заверчена тушей?

Нет, не твоё! Там кочевница, гордая мгла.

Нет, не твоё! И слова там иные, молитвы.

Ты – это поле! И ты это небо взяла,

словно бы мужа. А после – разбилось корыто!

Всё сокрушилось! Разъяслось!

.....

Особенно мне

жалко вот этого – в ноги паду я! – ребёнка!

Руки, как крылья тяну, что расшиты во льне!

И – ко груди! Ему холодно!

Лишь рубашонка,

ткани кусок на измазанном тельце золой.

Я бы украли у всех матерей – нежность, ласки!

Слёзы! О, маленький! Ты – сквозь эпохи – стой!

Всё-таки рухнула Троя!

И стянуты, сорваны маски!

Сквозь все столетья, о, как мне прижать бы дитя?
Чтобы кормить, пеленать! Это – лучшая кража!
Ты – эгоист, злой Парис, ненавижу тебя,
в наше бы время ахейцы-отцы, с ними я же,
плюнув в лицо, отвернулись! Метатель копья –
ты в наше сердце попал, как подкупленный снайпер.
Вот она кровь. Вот война. Пала Троя моя
в стоны распятий!

Был черёд послезимний, не выюжный, не хрусткий, мороз-
ный.

Я тебя забываю – по капле, ночами, по слёзке.
Деревянные рамы (не пластик!), а в них золотистые розы,
и они заслонили дорогу, строенья, киоски.
Молодые узоры – из Вологды, верно, из кружев,
из каких-то тончайших, космических, первоначальных.
Я тебя забываю сквозь всё, что забыть только хуже,
я стираю из памяти, знаков и звуков сакральных.
Из ларцов, из шкатулок её, из зрачков невозможных,
выдираю из сердца тугие, как медь, корневища,
исколола все руки, изранила пальцы подкожно.
Было всё бесполезно! Убила – а чувство-то дышит...
И – дождём по щекам! Солью, искрами хлещет из сква-
жин.

Шашки, нож и мечи великану такому – смешное!

Пусть женат ты. Повенчан с другою,
так лучше? Так глаже?

Не горчит тебе сахар? Не жмёт тяготенье земное?

Сквозь неё не меня ли ты видишь, как я сквозь
всех других тебя вижу. Устал ли, намаялся, болен.

Великанее чувство! Зачем мне такая бессонность?

Словно слон, где посудой торгуют – богемом застольным,
золочёными вилками тонкой искусной работы,
хрусталём и фарфором, из жгута цветной филигранью –
и всё это крошится. И рвётся и бьётся. Ну, что ты?

Я хотела бы чувство поменьше, чем хмель всей Шампани.

Там в груди по утрам об него разбиваются птицы.

Выжигают Везувий. Палят Карфагены и Трои.

Об него разрываюсь! Дроблюсь! Позвонки и ключицы.

И надлобная кость. Я не знаю, зачем мне такое?

Слон сбивает карнизы. Разносит витрины. Искрится.

Зеркала, зазеркалья. (Скажи, без меня греет солнце?

И седьмое есть небо? В метро те же станции, лица?)

Неужели она также звонко от счастья смеётся?

Может, пишет, рисует? Наверно, ты выбрал простую.

Не каррары, конечно. Не шёлк. Но, как всё-таки с Пру-
сом?

Не читала?

А я безнадёжно скучаю, тоскую.

Зря разбились витрины. Там всё-таки «крафты» и «джу-
сты»...

Встретимся? Наверно! А, может быть, никогда не удастся
пересечься в мирах, свет лун скрестить в одной точке
на одной дороге, тропе, на одной автотрассе,
из одной чтобы чашки сливаться в глоточке.

И ласкаться губами к фарфоровым бликам,
и одной ложкой есть – ложка из мельхиора.

Ты, наверное, будешь моею ошибкой
из естественного по природе отбора.

Говорить будешь умно, что мной очарован,
а мне можно с тобою быть глупой блондинкой,
слушать: сколько во мне есть простого, святого,
сколько птиц перелётных, что у Метерлинка.

Толкований, познаний, костров, меток, правок,
волхований, признаний, смертей, круговерти
и данайских даров, неоправданных ставок.

Где ты?

На какой из планет? На какой из великих
затонувших? Рушник где – байкальские рюшки?

Я в бетон закатала свой плач, свои крики.

Задыхаюсь! Мне холодно, вьюжно так, вьюжно.

Мне феврально в июле. В огне я промёрзла

Я в ребре твоём, знаешь? Создай меня! Выпей!

Смастери из металла, гранита, берёзы,
свет горстями – в улыбку, черёмухи кипень!

Если ты не родился, прошу, возрождайся!
Разведись! Откажи всем: жене ли, невесте!
Я не знаю, как вместе сложить мне все прайсы...
Может, ты был давно? Лет так сто ли, известий?
Или будешь когда-то? Я жду всё упорней!
Я пеку пироги. Зелень ставлю для супа.
Как естественно быть у природы в отборе!
Твоё небо – в упор мне. И солнце – в упор мне.
И во мне, и в меня, и мне в сердце сугубо!
Постелю на диване тебе. Ночь и звёзды...
Где они, где они аномальные зоны?
И сакральные сдвиги? Солярис! Чей воздух
ядовито пьянит! Пережди со мной грозы.
Не в Москве, так столкнёмся с тобой в Аризоне.
Не в овале, так в ромбе. В пустыне, в песках ли
мы ползти будем, руки вздымая друг к другу
Пусть погибли. Расстреляны. Пусть наши прахи
над землёю развеяны и над округой.
У отбора естественного нет отбора!
Птиц, зверей, огнекрылых и ангелокрылых.
Но не встретимся мы. Твоё небо – в упор мне.
Твоё солнце – в упор мне.
Ах, милый, ах, милый...

Поэтесса, не пишущая стихи,

не заворачивающая слова в кружева,
где же коклюшки твои, крючки,
где Араратов твоих синева?
Где этот сказочный электроток,
где же осколки небесных зеркал?
...Мне моё слово, как будто бы шок.
О, я такой выплетаю шёлк,
что Маргилян в каждом сне умирал!
Нынче все стены мне – Иерихон,
нынче любой плач мне, что высота,
нынче Парнас мне – беда и заслон,
каждую фразу снимаю с креста!
И говорю: «За какие грехи
дар твой отъят? Ты не пишешь стихи!»
Ты, поэтесса, не пишешь, ты спишь!
Вот погляди: чан глубокий, в нём кишмиш.
Я так себя отдаю на вино.
Всю, сколько есть и неведом мне страх.
О, как в давящие пьяняще-пьяно,
о, как в давящие сладчайше-хмельно:
вы на моих потанцуете костях!
Люди! Мной столько разъято небес!
Люди! Мной вплавлено столько желез!
Столько наскальных рисунков – владей,
ей, поэтессе не пишущей, ей,
наглухо заткнутой, словно кувшин

обезволшебненный в мире пустот -
обесхоттабленный маленький джин.
Тот, кто не пишет несчастней всех тот.
Сам себе кладбище – холод и лёд.
Вам поэтессам, кто пишет стихи,
вам, кто терзал меня больно, но всё ж
все я прошу наперёд вам грехи,
только, прошу, не жалеть мёртвый дождь!
Только, прошу, не жалеть мёртвый снег!
Высказать правду сегодня для всех.
Высказать правду и снова, и впредь
на сто веков высочайших запеть!

От сентябрьских птиц знобит в апреле.
Вот я в лес захожу, где когда-то кукушки
говорили со мной на моём акварельном,
на льняном языке! Кружева и коклюшки
были поводом плача и поводом песни.
Я слова, словно сети, над миром вздымала.
А сентябрьская птица – безкрыла, безвестна!
Полуптица она, полугриб – мох и плесень.
Все листы изжевала, и всё-то ей мало!
Хоть не в сердце, так в пятку – пята Ахиллеса!
Так цепляется старое, ветошь каркасов.
Ах, Алёшенька, братец ты наш, Карамазов!

Ах, Алёнушка, будет ли пьеса?

В самом чреве пореза – иди и повесься!

В этом мёртвом, сентябрьском узле,

хотя, впрочем,

вот он – Кесарь!

Твои сбитые шапки времён Черубины.

Твои смятые шторы, где вырваны небы,

твои блёклые звёздочки те, что без ночи,

у сентябрьской пичуги оторвано имя,

каково ей носить вместо пёрышек – склепы?

Брошу крошек ей горсть: греча, жмых да пшеница,

кину семечек сладких, кедровых орешек,

будешь клювом долбиться сентябрьская птица,

будет крик твой в ночи неутешен!

Мы ещё не сказали последнее слово:

я, Алёша, Алёнушка, сам Достоевский.

Я однажды видала охотничий норов,

я однажды видала курок в перелеске.

Я однажды варила куриное мясо:

«Карамазов Алёшенька, кушать извольте!»

Я – в колени бы голову, о как мне классно!

Я бы – грудью о землю! А он улыбался!

Но мы в разных веках, как отвары, декокте,

даже в книгах мы разных! И в сказах! Но снится

нам в рассветном апреле сентябрьская птица!

И сентябрьская ложь, словно клён в оперенье.

Не противиться злу – это сопротивление!
Это сонесогласье. И сонеприятье!
...Клин по небу! Смотри! Возвращаются братья!
О, апрельские птицы, стелите постели,
стройте новые гнёзда свои, Карфагены!
Собираёте травинки, иголки ели.
О, как солнечно нынче! О, как нам нетленно!

А Спаситель сегодня сошёл прямо в ад!
На серебряных нитях, на тонких крылах,
на парчовых огнищах.
А в спину вопят:
на земле этой грешной скабрёзность и мат,
и вся вечность заснула в часах!
Не буди её! Больно! О, как мне беду
поместить в паутинную эту дуду?
И как мне поместить Божьей смерти объём
в эту тонкой работы икону шитьём?
Вот я еду в старинный наш град-Городец,
где округлей земля, где размеренней шаг,
я сейчас состою из таких нежных детств...
Неразумной, о, люди, о, как мне дышать?
Подскажите, откуда на небе багрец?
У Субботы страстной вам хлопот не исцель,
выпекать куличи, что с изюмом внутри,

с бархатистой глазурью, где сладок замес,
где орешки, цукаты, как те янтари.

Птица-тройка моя – птица-дастер ты мой!

Не теряй ты дороги, лети по прямой:

здесь начало иконы «Сошествие в ад».

Здесь страстная Суббота. Здесь свечи горят.

Городчане пред Пасхой любимей стократ!

А икона вращает мне в сердце! Её

корневище ветвится, и птица поёт!

О, как недра разверсты Предбожьи мои

до калины шукшинской, сплошной колеи,

до рябины рубцовской, низин и высот.

Ад повергнут! Его перейдёшь, словно брод!

И всё вместе, по кругу сомкнулось в кольцо:

Городец. Пасха. Волга. И Божье лицо.

И никто, никогда не умрёт!

Еженощно теперь у меня из груди,

из глубоких, стальных, из её корневищ

вырывается снова икона. Парит.

И никто не убог. Не повержен. Не нищ.

И молитвы мои напрямую теперь

прямо в Боговы уши, в открытую дверь!

Ибо все мы из этих святейших суббот,

ибо все мы из этих святейших щедрот,

из полнот, из частот, из дарений, свобод.

Вот!

Корни этой берёзы обнимают тебя, мой отец,
песчинки вот этой земли щекочут твои ладони.
На вешалке шарф твой остался из шерсти овец
отчаянно рыжий! И куртка ещё из болоньи.
Такие носили тогда. А ещё помню я твой портфель –
он лаково-чёрный. В нём плитка всегда шоколада.
Лубочный наш мир – оловянных солдатиков, фей.
Журнал «За рулём» ты читал и выписывал «Правду».
Ходили с тобою мы вместе на площадь.
А нынче – беда!
Завод, где работал ты – продали!
Как же так можно
разрушить страну? Растащить по карманам? Предать!
Но ты, мой отец, не застал времена бездорожья.
Я письма хранила твои. А сейчас, а сейчас
я каждый истёртый конвертик беру и вдыхаю:
цветасто! Побуквенно! словно бы некий запас
ещё у нас времени есть пред изгнанием из рая!
Ещё на табло не черно!
Ещё нету табло!
Ещё не случилась у нас, как сейчас, катастрофы:
куда ни взгляни – банки, рынки, обвалы, бабло,
сплошные Голгофы!
И ржавые гвозди распятыя...

Отец мой, отец!

О, как я люблю тебя! Как по тебе я скучаю!

Я шарф твой беру – этот рыжий – из шерсти овец
и, словно котёнка, держу и держу у плеча я.

А сердце моё так стучит, что сороки – бегом
с подталых ветвей врассыпную метнулись огрузло.

Ты был коммунистом, отец.

Верил: честным трудом,

что зло победили бы мы! И вот этот – дурдом!

...Ты умер, о, Боже, за день до развала Союза!

В моих душевных ранах всё равно свет и добро!

Какие бы ветры не гнули, не выли.

В них такое отсвечивает серебро
со скоростью мяты, изюма, ванили!

В моих душевных ранах. Откуда они
ты не спрашивай, сколько в них цивилизаций
и сколько разрушенных стран в них звенит,
какие исчадья, в них войны клубятся.

Какие сдвигаются материки.

Какие галактики стонут от крика.

Я их замуровывала бы в стихи.

В бетон бы закатывала безъязыко!

И всё-таки близь в них! И всё-таки свет!

Вложите персты в мои раны – там небо!

И каждый простор в них, что башня, продет
цветами, листвою, огнём бересклета.
Живящие раны – росую, пылью...
Мертвящие раны – черны, словно омут...
И в каждой, разверстой – ты! Руки, лицо,
слова твои, фразы искрятся, не тонут.
И в каждой, ещё не зажившей, все мы!
И в каждой Алёша сквозит Карамазов,
и Данко, нашедший дорогу из тьмы,
о, раны мои, перешедшие в язвы!
Нет. Я не смакую вас. Я по утрам
бальзамом, зелёной лечу вас. И сказкой!
Я так закалилась в борьбе. Тарарам
меня не страшат, меч, ни сталь по-дамасски.
Ни стрелы, ни лук, ни кинжал, ни шипы!
Ни россыпь клевет, оговоров, наветов!
Всё, что не убило – воздвигло щиты,
пропело мне гимны и «многие лета»!
И каждая рана теперь – Иордань!
Я трижды крещусь, окунаясь до донца.
И сколько меня ни терзай и ни рань,
во мне прибывает лишь солнце!

Герострат, поджигающий «Храм чужого голоса»,
чиркает спичками. Кидаёт солому.

Исчадье пожара – гремучие соллюксы
подобны закону цикличному Ома.
Герострат поджигающий! О, ты безумен.
Ты – разоблачающий. Гнев в тебе плещет.
Твой храм – бумазейный. Он равен по сумме
истерикам женщин.

Во мне не ищи отголосков чужого:
своим я наполнена голосом певчим
в три горла! Я – вся эти горла! Что снова
лужёные! Выкрикнуть есть чем!
И вымолить есть чем! И выплакать есть чем!
Своим же – своё, что живому – живого!
Когда возношусь к Иоанну Предтече,
когда дорастаю до высшего слова!
Гортань, что кровавит моё исчисленье.
Гортань моя пахнет тогда хлебным колосом.
О, «Храм моего неизменного голоса»!
Какие распятья в нём!
Все – на колени!
Старухи, чьи юбки длинны, все в оборках.
Подруги, чьи лица сегодня безгрешны.
Чьи спины белужьи мелькают в кофтёнках.
Все!
Все на колени!
Все!
Все неутешны!

О, сколько гвоздей вбили вы в мои звуки!
В распятые хрипы!
Я голос распела
до чистого слога! Сердечного стука!
О, храм мой пронзительный! Солнечно-белый!
Пусть все Геростраты поют пепелища!
Зовут пепелища! Несут запах гари!
Чужое пускай, словно стая не ищет,
голодная, волчья, где твари по паре.
Мне кредо сегодня – познания и знания!
Где ваши погибели. Наших не будет.
Безумный Нерон – в Риме! А не в Рязани.
В Москве Берлиоз с головою на блюде
А вы... впрочем, мне ли топить ваше масло?
А вы... впрочем, мне ли судить Герострата?
Мне так нынче ясно, парнасно, пегасно.
И места под солнцем – всем хватит.

Мы вдвоём бы открыли одну комету,
Лексель! Запишите меня в эпигоны,
призовите меня, как воровку, к ответу,
во свидетели публику здешнюю. Полно,
не стесняйтесь! Ещё социальные сети
и клеймо на плечо мне, тавро из дракона.
Я с рожденья гонима. С рожденья в ответе.

Ибо, кто так ярчайше блистает – виновна.
Красота – это грех. Не спасение! Сразу
говорю: зажигаюсь сама, чтобы – в топку.
Никого не волнуют душевные язвы.
Просто к плахе – верёвку.
Мне с открытиями больно. Без них мне больнее.
Я просыпала крик. Разлила сок гранатный
в подражания, мимезис, в покражу идеи,
в переплавку, в потраву, шестую палату.
А комета моя – лишь фальшивое солнце,
посияло и хватит! Теперь нас с тобою
через сто микроскопов и тридцать червонцев
пропускать каждый раз будут перед толпою.
Проверять будут: нет ли в нас примесей чьих-то!
А Святые отцы будут тыкать перстами.
Мы с тобой – преступление. И, крадучись, тихо
во сияющий эллипс. А что же вы сами
в Пастернаке увязли, что клюква в болоте,
в Бродском, словно в крови, перепачкали руки.
Прислоните пылающий образ в полёте
прямо к телу, ко мне – прожигающей муки!
«Ни сумахи, ни разума!» – скажут Святые
и уйдут, оставляя мне запах лаванды,
тремякратно крестясь.
Я свои запятые,
как заклятья затем загонять буду в гланды.

Закрепляя сквозь горло столетья иные,
Валаамским певцам наслоившись на ноты.
Заверните меня во рубахи льняные
плотно!

Есть города особого значения.
Есть города особого звучания.
И как мне доказать вам, если больно?
Там крик всегда на уровне молчания.
Там песнь всегда – безмерно колокольна!
Там путь всегда по полю – на Голгофу!
Я истерзалась по сакральным строфам!
Я – Магдалиной льну к твоим стопам:
о, благородство, ты – у Богородска!
Тебя на растерзанье не отдам.
Вот выпадет из косы заколка...
Тебя к груди прижать бы, как ребёнка
качать и убаюкивать. Свирель
нести за пазухой. И целовать твой ветер.
Мой сказочный, ты мой последний Лель!
Не выпадай из сердца кукушонком.
Там больше нет таких тысячелетий!
Остались: Троя, Китеж, Карфаген,
ещё Калязин затонувший с колокольней,
и запах гари; одичанье, тлен,

затопленное кладбище и штольни!
Там больше, в сердце, нет таких вот птиц
с отливом чёрных, белых, разномастных.
Я так устала от пустых глазниц,
от пошлостей, бездарностей бесстрастных!
Сожжённых сёл и мёртвых деревень.
По мне пусть ритмы рваные, чем звуки,
что не отбрасывают золотую тень.
Мне графоманы – что Тантала муки!
Я без тебя, о, Богородск, Тантал.
Мне не вкусить амброзию, нектара.
Да,
я из тех, кто не предал, не сдал
ни пядь земли отцовой, ни гектара!

Руки тяну к осколкам родины я моей.
Родины, покрывающей алыми парусами
ломоть ржаной полушария,
синий простор морей,
родины, что глядела наших отцов глазами!
Руки тяну к осколкам! Карта из прошлых времён,
что на стене прищиплена, не утаит маршрута!
Мамочка! Это сон. Тридцатилетний сон
будто!
Да там у всех у нас – разностей было полно

несовершенств. Затем, помните, в девяностых,
как раскрутили вширь старое веретено,
как раскрошили страну в кучу осколков острых.
Нет, я – не коммунист. Нет, я – не демократ.
Но мне безумно жаль. Нас. Что случилось с нами.
То, что попали мы зернами в грубый накат,
то, что нам нужно взойти в этой печи хлебами.
Но слишком жёсткий огонь. Но слишком огненный жар
на подгоревших полях, либо не масляно тесто.
Руки тяну, тяну, ой, как мне родину жаль!
Ту, что внутри меня. Ту, что вокруг повсеместно.
Дайте мне шёлковый плат – плечи плотнее прикрыть!
Руки, которыми я жадно тянусь, задыхаясь.
Если объяття мои станут летучее крыл,
чтоб обошла судьба внуков моих лихая.
Вдумайтесь в имена, в подвиги, в наше всё.
Парк есть победы у нас. Космос Гагарина. Пресня.
Символ не раздробить ни в два притопа, в прищёлк.
Сколь не суди – не судить.
И не забыть, хоть тресни.
Там мы крылатее. Там чище, молебней, сильнее.
Я не хочу, чтобы бывшей, я не хочу, чтоб погибшей.
Через препятствия к ней. Через столетия к ней.
Я – твой осколочек суши, хлебная крошка морей,
я – твой клочок распоследний этой целебной афиши!

Воды холодной терпкая струя
из горлышка стекает вглубь кувшина.
Троянская Елена – это я!
Отец хотел мне дать такое имя.
Но маме нравилось Фотинья. Фотина.
Алёна – сёстрам!
Греки – те же русы!
По книгам моим бродит старина.
По жилам – солнце. В кости, в каждый мускул
Эллада бьётся. Досмотреть бы сны
о веке Золотом! В накидках, складках.
Ужели я – исчадие войны?
Ужели красота – не так уж сладко?
Как жёлтых вод холодная струя?
Меня распять. Меня убить такую...
А красота – есть грех. Все вы – судья!
Так значит я, и вправду, существую?
Я – есмь приговорённая. Во мне
всё живо. Всё – жара и лето.
Во мне – всё больно! Город на холме...
Прочь, прочь! Достали вы меня, поэты!
Мне плакать хочется! И выть, зажав кулак
между коленями. Беременна я Троей!
Её конём слоновым! Экий враг –
комок из дерева и тоже мне – в герои!
На мифе – миф. Наполнены сердца,

как Леонардо полон Моно Лизой,
так Троей – я! Что девять грамм свинца,
она во мне растёт в плену коллизий!
О, тело моё белое, не рвись
на сто осколков виноградно-винных!
...Экскурсия. Мне гид – как звать? – Парис,
помешанный на деньгах и машинах,
расскажет суть. Ужель и он – судья?
Смазливенький...целует руку звонко.
Ах, дурачок, Елена – это я,
вынашиваю Трою, как ребёнка.
Чанаккале. Уютный дворик. Бар.
Богатых любят здесь, как сыр творожный.
А я сижу и думаю: «Нам в дар
Эллады сны! Россия в дар нам тоже!»
Парис целует щёк мне алый жар...
И сигаретно пахнет его кожа.
– Зачем приехала? – он спросит.
– Как зачем?
Ищу свою могилу. Я – Елена.
Пирожное. Маслины. Сладкий крем.
А с Троей что?
А Троя – внутривенна!
Парис влюблён. Влюблён, как Менелай.
А судьи кто? А судьям – взятки гладки!
Златая пыль струится. Птичий грай.

И огненные в небесах заплатки!

ПЕВИЦЕ. Притча.

Не могу потакать. Надоело. Как можно этими пальцами,
как можно тебе этими же устами, руками, телом
высокое петь и низкое швами скреплять, как канальцами
и думать, что ржа не разъела.

Как можно из этих же струн выдыхать сладость муки?

Как можно из этих же струн выполаскивать пошлость те-
бе?

К двум стульям примкнувшая.

Плачи и стоны бузуки,

они не простят. Они будут истошно скорбеть!

И арфы. И лютни. Возьми лучше узенький стержень,
туда поместить попытайся небесную плоть!

Они не простят. Если я, видит свет, смилосержусь.

Высокому – высь!

Сорняки – вырывать и полоть!

Нет, я не Господь. И не Бог. Лишь на сцене – богиня.

Когда от зерна отделяются плевелы, комья земли.

Плевелье житейское хуже! Молю я во имя

умершей Марины Цветаевой руки твои

и звуки твои! И уста, откровеньям подвластна,

сужденьям подвластна! Есть истины, что им онлайн?

Ты струны порви! Пальцы в кровь исколи, зренья застя.

Ты голос сорви! Словно сердце, ты вырви гортань!

Не пой то, что низко, безграмотно вместе с высоким.

Вот этим же телом. Иначе и тело – в куски!

Оно – пустота. А искусство, родная, не гонки.

Искусство – пожар! А стихи – это пули в виски!

И снова ты спросишь меня:

– Кто такая ты? Кто ты?

Учитель, правитель, прислужник, советчик? Ты кто?

Отвечу:

– Я зритель. В последнем ряду вжалась плотно.

Я книги люблю, хлеб, и зрелища, и шапито!

Пальто

там на вешалке: пуговики, замша и брошки.

Пишу потому, что люблю! Выдыхаю любовь

петлёю Цветаевой, к горлу примкнувшей рогожкой,

и чувствую как, задыхаясь, пульсирует кровь!

Так смерть вызревает. Устами в багряной помаде

ласкаюсь я к звукам в высоком, ином далеке!

Как будто бы пью исцеления вещею ради

бессмертную воду звезды потонувшей в реке.

Вот в этой пыли, в хлебных крошках морей,

в густой, ятаганской, языческой скорби,

ну что, Адана? Сколько было церквей

Апостольских здесь сожжено и соборов?

Вот здесь мне с лица твоего слёзы пить.

Я слух свой прикрыла ладонями. Всё же
я слышу, как плачется пёс на цепи,
зарезанный турком, от боли, от дрожи.
Седой я армянкой, чьё горло в крови,
мальчишкой с разорванным телом в Алеппо
и я – стариком!

Мне молить, мне вопить:

– За что вы? За что вы? Так зло. Так нелепо!

С чего началась эта гибель, резня?

Конечно, со слухов и сплетни им – пища.

Как будто армяне виновны. Огня

пролили на масло иль масла в кострище.

Динь-дон.

Слышишь звон?

Погибшим поклон.

И вот в моё сердце, в его корневище

вошла в одночасье беда, как бетон.

Динь-дон.

Итак, Адана современная! Центр

усыпан базарной своей толкотнёю.

За несколько лир покупаю абсент,

котлету коровью.

И вновь лишь глаза, сидя в баре, прикрою:

бегу я от турка армянкой седою,

худым стариком и мальчишкой в Алеппо.
С ума я схожу? Или брежу, болея.
Но будто я к небу звездой взлетаю...
А гомон вокруг. И с цветами – аллея.
И лето!
И время – пора золотая...
Послушайте, люди! Но люди не слышат.
Я рыбой на суше уста разверзаю.
Я – сбор виноградный, что в чане, кишмиша.
Я – каплей багряной, я – ком земли рыжий,
я – этот клочок поднебесья, что выжжен.
Ах, да у времён перерезано горло.
Ах, да на краю мы стоим водопада,
пока мир кружится по-птичьи, по-орльи
за несколько лет до распада.

Я давно хотела поговорить о том, кто такой писатель,
мастер, художник, создатель, выхаркивающий слова.
Он – князь Игорь ведущий русские рати,
он – убиенный. Отсекнута голова.
И княжна Ольга, рвущая власы в испуге,
воюющая, ползающая от горя по траве,
она – тоже творец, что никем не подкуплен
за мех, серебро во широком дворе.
Ну-ка, девы мои, расшивайте рубахи!

Ну-ка, девы, подружки, берите шитьё!
Расскажите про гибель вы Стеньки на плахе
и про то, как царёва шапчонка плывёт.
И Рублёв, что иконы писал, а под утро
тихо ангел слетал с поднебесья, затем,
чтоб в картины вселиться... Писателем круто
быть, себя извергателем в сотни поэм!
Быть писателем, значит, быть Гердой, во имя
равнодушного братца вмерзать в тонкий лёд.
Вечным Данко с затоптанным сердцем, что вынул,
дабы выкричать фразу: «Шагайте, народ!»
Быть писателем, значит, в пустыне Сахара,
как отверженный старец молитвы творить,
быть Прилепиным, значит, о люди! – Захаром,
свою жизнь положить на времён алтари!
Быть писателем, значит, петлёю Марины,
забубенной Цветаевой горло ожечь!
Значит, дуло к виску Маяковским рябинно
приложить и себя бросить в жаркую печь!
Быть писателем, значит, всегда быть распятым,
каждый день на Голгофу, сдирая ступни.
И не жди похвальбы. Не ищи угол пятый.
Будь во всём гуманистом. Всегда демократом.
Будь агентом Кремля, кумачом и расплатой.
Пусть тебя предадут – эти, те и они!
Быть писателем, значит, молиться, молиться!

Вавилонской блудницей уснуть, а проснуться,
чтоб Мадонною Горловской, белую птицей
или старицей с посохом в руке.

Быть писателем, значит, в плену суицидном.

Быть писателем, значит, в бреду сумасшедшем.

Быть писателем, значит извечно Майн Ридом,
значит всадником без головы неутешным.

Нет, не будь ты писателем. Лучше не надо.

Счастлив тот, кто лишь может слагать поздравленья
да частушки, пародии с каплею яда.

А писатель лучится, что богоявленье.

А писатель рождается вечностью, сходной
с запредельем! Где бритвой дожди въелись в кожу.

...Вот стою на мосту между Химками, Сходней
и тяжёлое небо держу.

И не брошу!

Старица

Из-под корки одежд: ребра, плечи, лопатки,
ты – река пересохшая, мёртвая глина!

А была бурной, этакой аристократкой
до блестящих рыбёшек, ракушек ванильных!

Вырвав дёрн, над тобою свисали соцветья.

Выдрав небо, над волнами луны сияли.

Обезжизненным словом, обвисшим, что плети

не наплакать воды бирюзовой эмали!
Ни восторга рассветов. Ни боли закатов.
Обмелевшая, дурочка ты человечья!
А в тебя я ныряла, так было когда-то
до ожогов восторга!
До воплей увечья!
А теперь ничего – ни стихов, ни надрыва,
лишь сплетение игл да камней вереница.
Ладно, я! Мне не кинуться больше с обрыва.
Но как девице быть? Где же ей утопиться?
А как было! Как было! Как всё-таки было!
Я кровавый твой лёд от ресниц отдирала!
И в осоковых брызгах порезов остывших
твоих ядов выскрёбывала волчье жало!
Ах, ты старлица! Ты постарела на вечность,
постарела на Каина, на поцелуи
всех Иуд и на вымерший путь этот млечный,
не волхвиться тебе, не вздывать больше струи!
Вот стою и не знаю: смеяться ли, плакать.
Или встать на колени и рвать, воя, косы?
Иль венки мне плести из левкоев и маков.
Не унять! Не обнять твои бывшие плёсы!
И в отчаянье деревце рвётся – убиться!
И в слезах горьких стебли ложатся под пилы!
Только чёрное солнце.
И чёрные птицы.

Ты себя же сама, исчерпавшись, убила!
И я грудью бросаюсь: возьми! Я – живая!
Всё бери мне не жалко. Унести сколько сможешь!
Вот как выглядит это – изгнание из рая,
а не так, как кричала ты: писарь, художник...
Ты иссохла уже, никуда не прорвёшься,
ты так вымерла вся: амнезийно, бесстрастно.
О, как царственно я позабыла истошно!
О, как ясно!
Притча. СОРОКА

Ах, как же легко терять перья зимою.
Одно я нашла. Молоко так льняное
на пальцы, как будто лилось мне. Нас двое,
о, дитяtko, птица! Вот с этого срока
мне всё – глубооко. Мне всё – белобоко!
За что возвели тебя в ранг побирušек,
воровушек? Плюнь ты на этих подружек!
Я глажу перо твоё: белый лён, пряжа,
сырковая масса со вкусом изюма.
И пальцы мои, словно пахнут грильязем,
и ветреным шурум-бурумом.
Тебе выколдовывать эти стекляшки
и в снах утопать. За тебя мне так страшно,
как страшно бывает за горечь и правду,
как за невиновных в руках террористов,

а, может, да ну их всех к ляду?

В льняное твоё молоко словно – выстрел,
когда поведут на костёр, словно ведьму
за стрёкот, за музыку. О, если петъ бы,
катая, как зёрнышко, творог зернистый,
мне ясно, до связок разрывов – мне близко.

Я голос срывала, чтоб перекричать мне
воробышков, соек да Каинов-братьев!

Раздай всё обратно, сорока, родная,
в куриных своих коготочках сжимая!

Вот заповеди, например, птичьи. Десять.

Зачем у безлесья строчить про безлесье?

Зачем у легчайшего требовать веса?

Зачем у преснейшего ждать интереса?

Уж лучше в костёр. Чтоб сожгли, словно ведьму!

Где дуло к виску и стрелу арбалету.

Твоё сорочиное небо вздето.

И пёрышки оземь. Лён млечный прочитан.

Но любишь мучительней ты и открытей.

...Но нет на любовь никакого ответа.

Осталось мне плачи времён всех собрать:
плач всех Ярославн, перуниц и княгиней
по детям, мужьям. Да в котомку, где кладь.
О, сколько же плачей в моей сердцеvine?

Солёных, что море, горючих, что жар.
Мне плачи чужие в бессонницу бьются,
тела свои слёзы в меня плотно вжав,
по странам погибшим в чаду эволюций!
Они, как деревья, что с корнем: их рвёт
ветрами, забвеньем, исчадьем, бураном,
мне плачи чужие – не сладость и мёд,
мне плачи чужие – не плот и оплот.
От них в моём сердце, что рваные раны!
Вот слёзы ребёнка тугие, как плеть,
вот слёзы старухи, что горше полыни.
Как мне их утешить? И чем утереть?
Какими платками? Все плачи – святыни!
А там, в подреберье щемит и болит,
всей Русью болит! От истоков до корня!
И как можно звать себя – русский пиит,
когда слёз ты соль не сбирала на щит
настойчивее, каждодневней, упорней!
Ты знаешь, что камень застылый – слеза?
Он тем и бесценен, что плачи бессмертны.
Рубин, хризопраз, малахит, бирюза.
Слезинку дождя мне б с ладони слизать,
упавшую с неба! Мне слёзы воспеть бы!
Да, да – мне воспеть! Не восплакать! Не взвыть!
Мне их переплавить в небесную чашу.
Известь, словно князь, что «иду я на вы»,

как флаг водрузить их за родину нашу!
В груди моей плачи настолько свежи,
так пахнут отчизной и так пахнут хлебом!
Длинною, что будущность.
Высью, что жизнь.
Они растекаются – в небо!

Ничего не меняется: ложкарь мастерит посуду,
вырезает ложку из дуба. Берёз деревянных холсты
срезает по капле, подносит к медвяному кругу.
Я – ложка из дерева: будешь кормиться мной ты!

Облизывать тело. И щами из белой капусты
прихлёбывать будешь, а хлебом бульон заедать.
Ложкарь моё тело тесал, шлифовал яро, с хрустом,
обветривал, чтобы сияла древесная гладь!

К губам подноси! И ласкайся! Какое вам дело,
что было со мною, какая сияла мне больно звезда!
Теперь разmozжён позвоночник. Распилено тело.
Но, главное, в ложке, чтоб в рот, а не чтоб мимо рта!

Ах, пойте, потешники! Вы, ложкари, воспляшите!
Ударьте вы в бубен! И взвейтесь в безудержный бег!
Вокруг кукловоды, в руках у них кукольны нити!

Пока согреваю в груди я рассыпанный снег.

В твоих городах слишком скудно, в рифмованной прозе,
в подделке! Куда тебя? Рынок – и тот не дурак.

Кричи, не кричи. Но ты вся из порезов коррозий,
что мне – деревянной, ложкарной – твой хилый пятак?

Так, так да растак твою. В землю, коль станем ложиться,
как все в деревянных, дубовых своих черпаках
да в тёплых, в посудных своих из берёзы тряпицах,
в вишнёвых, сливовых, тесовых, злачёных стволах.

Поэтому кровь закипает во мне: надоела
мне ржавь твоя! И твой пластмассовый корпуса звон.
Всё спамит в тебе: и Шекспира безумный Отелло
совсем не таков, не ревнует своих Дездемон.

Пусть лучше я буду всю исцелованной, в чьих-то
касаниях, лобзаниях, парящей в питьё и еду,
чем эти пустые, бездарные пляски и ритмы
под эту твою шутовскую – ой, люди – дуду.

На моей площади народные гуляния.

На твоей площади никого, ничего.

На моей площади – церковь, магазины, здания,

ёлки на Рождество!

На моей площади – Манежной, Театральной, Пушкин-
ской

я держу своё небо, вздымаю над головой.

На твоей площади, на кликушеской
пахнет салом, укропом, молвой.

Все дороги закрыты, залеплены,
даже летом в снегах.

У меня в груди – всё так больно сцеплено,
словно скрипки бьются, вздымается Бах.

На моей площади никаких обманов, предательств,
а тем более скоморошских, шутовских клевет,
балаганов и плясок, трюкачеств, рвачеств,
лобных мест, палачеств, казней, бед!

На моей площади – прикипает древко к рукам,
плаваются ладони, флаг держащие!

На моей площади – ни пяди не сдам.

Поднимаются даже падшие.

На моей площади – пыль столетий,
даже камни кричат, вопят, дождь – шершав.

У меня, во мне столько отметин,
столько рубцов в горле – не закроет шарф!

Я сама уже – камень моей площади, я сама её пыль,
я сама её часть, масть, её страница!

Моя площадь – площадь Горького, что изверг «Изер-
гиль».

Моя площадь мне снится!

На моей площади я столько раз падала, сдирала колени в кровь,

попадала под колёса машин, под колесницы, под артобстрелы,

на моей площади плакала Ярославна над обрывом без слов.

На моей площади я сама чуть уцелела.

На твоей тоже не лучше – весь Калашный ряд, баяны, валторны и хор из Уреня.

На твоей площади тебя из рая изгоняют в ад.

И поэтому я – к иконам, и поэтому я – на колени!

«Смилуйтесь все!» – а там герб, что с оленем.

Герб городов Ростова, Гродно, эмблема Альзона.

На моей площади, которая выросла мне в грудь, во все её плачи, смыслы, во все её стоны так, что не вдохнуть!

С моей площади провожают солдат, с моей площади, как с Ромодановского вокзала: все его помнят. Но его нет. Адресат вынут из списков, реестров, овалов.

На моей площади иконы кровоточат.

Лупит солнце. Цветут магнолии и абрикосы.

На твоей площади тоже цветочный чад.

Хочешь, в ноги паду? Хочешь, оземь?

Хочешь, про бусы поговорим, хочешь про платышко изо

льна?

На моей площади, на твоей площади не вырваться из круга.

Но один у нас город и площадь у нас одна:
мы стоим в полшага друг от друга!

Корневище русское проходит сквозь меня,
сквозь мою землю, её белокрылые оси!

Сквозь сердце, сквозь волосы изо льна,
прорастает в мой позвоночник, в мои крепкие кости!

Прорастает, пропитывается, мою влагу пьёт.

Пробивает пространство. Прорезает высь и выше!

Я в его тени. Мы все, мой народ,

сквозь нас растёт русское корневище.

И когда мы все выходим на Соборную площадь,

заслышав музыкальный его, высокий звон,

русское корневище прорастает сквозь толщи

всех прошедших и будущих всех времён.

И какими бы ядами не поливали нас,

дождями кислотными, фосфорными, губительно атмосферными,

но несбитый ритм корневища – наш запас,

не простреленный пакостью, гнусностью, сквернами!

Спросите, какво оно на вкус, какво оно на цвет, спросите?

И, если не секрет, каково оно на запах?

О, как сердце щемит мне космической россыпью,
я в его утопаю масштабах!

Им наполненная до краёв.

Это то, что спасает. Это то, что пронзительно губит!

Со времён мироздания, из плача всех вдов,
из купелей сыновних сугубо.

Из материй берёзовых, шёлка дубов.

Это кров. И библейский Иов. И покров.

Это дедов сундук. Это рёв у гробов.

В каждом грамме его сто пудов, сто трудов.

Люди!

Корневище русское – это Авель, не убитый Каином!

Корневище русское целует каждое утро Бог.

Трогает. Обволакивает. Громит идолище татарино.

Впивается в гортань. Просачивается в слог.

Я не могу отступить, ибо сколько наших сгибло в концлагерях.

Сколько наших сгибло в армянских сёлах от ятаганов.

Сколько наших – однокоренных погибает сейчас на полях,
сколько сожжено в Одессе кучкой купленных хулиганов.

Повторяю: однокоренных, однокорневищевых!

Вставших гуртом, что небесным щитом,

кричащих, шепчущих, вопящих русскими ртищами
о будущем. О вечном. О золотом.

А у этого ножи́ка сталь остра,
раскромса́ет бока самого осетра.
О, осётр ты мой, князь мой, владыка, мой царь!
Плавником поведи ли, хвостом махом вдарь!
Вот кузнечиков в травах стрекочет хорал,
на стекляшку простую ты, царь мой, попал!
На червя, на опарыша, синюю сельдь,
неужели твой голод сильнее, чем смерть?
Но не помнить я вечность теперь не могу:
твою будущность вижу на красном лугу!
Ты – с распоротым брюхом,
ты – в горле с ножом,
извиваешься глухо на суше ужом.
Этот нож, что из Павлова – нож острорез,
в осетровую шкуру клинком больно влез!
Раскрошил он чешуйки и выдрал кишки:
плавники заостряли свои кулачки,
хвост пытался ногами немедленно стать.
Убежать бы! Укрыться бы в синюю гладь!
Нож из Павлова, города, что на Оке,
этот город в моей распластался строке!
Он – лимонный, коврижный, в гусиных боях,
в декабрях, январях, феврялях. Янтарях!
Он в своих перочинных взвывает ладьях,
во друзьях он моих. И он в Божьих гвоздях

капель крови моей, осетровой, людской.
Ну, а мне-то на кой? Ну, а мне-то по кой?
Если морем, своею одною шестой
я – царь-рыбе, как будто являюсь сестрой!
Заглотнула стекляшку-наживку, лечу!
И клинком солнце мне бороздит по плечу!
Стихотворцев непризнанных клятвы кричу.
Меня город врачует – не надо к врачу.
К палачу мне не надо. Не надо к рвачу.
Мне к тому осетру. Мне ко князю, царю,
его белое тело сродни янтарю.
Золотая дерюга, свинцовая мша,
не левша – я отнюдь, а извечно – правша!
Но нечаянно, если авто колесом
я заеду на клумбу, то пусть невесом
этот сказ будет в рыбьем пространстве святом.
...Лучше благословите, хотя б шепотком!

С чем я, глупышка, сражаюсь? И с кем?
Коль вокруг меня ветряные мельницы.
Сами подобрались, кто скафандр, а кто шлем,
а кто лопасти тянет, кто просто так вертится.
Одной мельнице шестьдесят два. Другой семьдесят один.
Одна неуклюжая, толстая без гроша в кармане.
А друг её богат. Голос скрипучий, как после ангин.

Простирают они свои гибкие грани.
Я пыталась сначала с ними дружить.
Выходила в поле. Целовала колосья.
Седые – пшеницы, колючие – ржи,
ходила на праздники и на покосы.
Просто. О, как всё просто!
Крутились колёсики, перетирались зёрна.
Ветряные крылья заходились в неврозе.
Их дело – мука, ястребиные оси!
Их раскосые тени доставали до дёрна!
И пытались сомкнуть все мои корневища,
что вращались не в землю, а радужно в космос!
Ну, а мне-то чего? Это небо прогрызшей
до седьмого пласта, до тугого тороса!
Моё дело иное – идти и сражаться!
Ветряки обступали меня. Сняли фотки
в фээсбуке! А друг мой, который Гораций,
был – робкий!
Наплевать! Начихать! Напишу на металле
то, что пёрышки крыльев в пуху на асфальте...
А у Пушкина нет орденов и медалей.
Вот и мне не давайте!

Кто-то должен! Смотрите: мой город проснулся.
Я люблю это время тугое, что масло,

я люблю его цвет нежный, пламенный, русый,
я люблю его музыку, танго и вальсы.

Вот поэтому я и решилась на схватку
с этим временем, в небо вгрызаясь до дрожи!

И, конечно, к барьеру. Конечно, перчатку.

О, мне, право, не просто, мне, право, не сладко.

Я себя отдаю до нутра, без остатка.

Кто-то должен быть всё-таки Данко! Жить смело!

Кто-то должен быть всё-таки вечно в опале!

Не согретых дождей быть в ожогах, во шквале.

Заступиться за слабого. Быть твёрже стали.

Певчей птицей застыть в золотом минерале.

Мне за всех на распятые.

В костёр! Во скрижали!

Пусть поэты возжаждут новейших трагедий
Еврипида. Возжаждут пусть пыль Карфагена,
пламень гибнущих в жгучих пожарах наследий,
и безумную скрипку Нерона по венам!

Плач непризнанных, волей судьбы, стихотворцев,
возжигающихся, как раскольники в небо.

Кто-то всё-таки должен быть и духоборцем,
и светящимся телом, и этим озёрцем,
и дрожащим в ладони листом курослепа!

И стяжателем! И просветителем! Песней
той, которую петь будут сорок столетий!

Становлюсь всё небесней, воскресней, словесней,

я, как тот, всем ненужный
предчувственник, вестник,
начитавшийся Горького. Пьес. И трагедий...

Пересотвори, Господи, этот мир снова!
В жарких пальцах белую глину сжимая, катая.
И опять воскричи, что вначале всего было Слово!
О, какая в нём мощь – золотая она, вековая.
Я живая лишь ей. Я одною лишь ей умираю.
Воскресаю. Болею. И вновь оживаю я ей.
В ней кометы.
В ней звёзды.
В ней крики над бездною, гравий.
И грохочут в ней камни для сбора отчизны моей.
Для создания нового неба, созвездия, века
разминай эту глину, все комья в песок разотри!
Для создания нового первого вновь человека –
совершенного!
Чистого! Светлого!
Сердце – внутри!
Он твой будет гран-при! И твои январь. Лёд и пламя!
Ничего, что на пальцах уже волдыри, синяки.
Но он в небо взметнёт алый парус. И лик Твой! И знамя!
И все раны залечит. И язвы, где шрамы на шраме.
В бумажке он напишет про маму! Про блики на раме.

И не будет бедлама. Рекламы. И срама на сраме.

И не надо к добру пришивать никогда кулаки.

Заживём по-людски!

Моряки, рыбаки, что на Волге.

И пусть – Горький Максим. И пусть будет Прилепин Захар!

И пускай человек – это мудро! Вселенски! И гордо!

И на Данко пусть мода. И на Карамазова мода
на того, кто Алёша, ему-то, действительно, орден.

Или всё же я брежу?

Горячка? Ангина ли? Жар?

В «Зимней вишне» пожар. Убивают. И гибнут. И чахнут.

Всюду взятки берут. Любодействуют. Грабят народ.

Замурованный вопль мой – в пласты, в поднебесье и в шахту.

И никто не услышит. Никто не поймёт. Даже тот,

Кто понять меня должен? А кости мои – тоже глина,
даже мускулы – глина. Хребет мой. И мой Прометей.

Если сверху смотреть:

что травинка, что я, что рябина.

Я хотела кричать. Но – горячка. И, всё же, ангина.

Пульс – за сто.

Крик – за двести.

А стих – моя мина.

Подорвусь.

Разметаюсь.

На личной я mine своей...

Мир на плечах атлантов, Шекспира и Данте.

Мир на плечах – «Серебряного века».

Мускулистого, крепкого, он так громаден,
мы, поэты, опёрлись на крепь перекладин,
на дощатые высверки рваного снега!

И подумали: «Вот оно, наше! Хватайте!

Поглощайте их книжек топлёное масло,
режьте вены о «Краткие тезисы» Канта,
умирайте в их музыку, пение, краски...»

Эти крепкие плечи – метафоры печи.

В них сгорим, в них мы пеплами станем отныне,
опираясь на вечность, на звёздность, на млечность,
на Цветаевой сладко-лимонные речи,
она сердце твоё, не спросив тебя, вынет!

И отречься нельзя, ибо камни плечи.

И от Бродского не откреститься. Врастаем

мы в Васильевский остров во штормы, во шрамы,
и куда б ни стремились – там крылья, там стаи,
мы увитые ими тугими мирами

и космической россыпью, дыма клубами,
их грехами, ошибками, небом. Цунами!

Выторнаженны. Взвихренны. Господи, дай мне
не сплетаться с чужими благими глотками,
припадая к источнику!

К песням кровавым –
сердца сгусткам. И к плачам, и к стонам, и воплям.
Не нужны мне чужие касания, локти,
даже Божии гвозди ни слева, ни справа.
Мне достаточно игл, и шипов, и булавок
тех, что в спину мои современники ввинтят.
По-совиному глухо,
орлиному остро,
по-акульи – что клинья!
Всё равно я пребуду теплом в чистых правдах,
все равно я восстану и светом, и солнцем,
даже если я выгрызу в ваших ландшафтах
инфракрасный распад –
этот каверзный стронций.
Но я рада, что не проданась за червонцы!
Не уехала жить ни в Чикаго, ни в Осло
не оставила русские прялки и кросна,
чтоб на этих плечах быть атлантов, бореев,
чтоб на этих прясть мускулах русских Гераклов!
Ваши пули пускай в моё сердце дозреют
полем маков!
Дослагать «Жития» и мне Плачи доплакать.
И ещё мне вывешивать русские флаги!
И ещё дорифмовывать русские саги!
И ещё верной быть, в школе данной, в отваге
моей детской присяге.

Никогда не случится такого, чтобы в мою честь играли скрипки,

чтобы рыдали, заливались от радости слезами, растекались в улыбки.

Воскресали звуками, восходили нотами, особенно это тягучее, дзинькающее «ля».

Можно петь для бабочки с тонкими крыльями.

Можно для неба.

Можно для моря.

Для тебя, земля!

И ещё я хочу, чтобы были люди рядом. Друзья.

Бывшие, нынешние, настоящие. Где-то рядом, порхающая, я.

И чтобы в крылышках ни одного пореза, надрыва, ни одного пораненного пятнышка, ни одной сбитой пылинки,

вывихнутого кружавчика, выломанного ребра. В архивы, в реестры, чтобы было внесено одно:

в её честь звенели скрипки! Переливались, целовали дождями её окно.

И чтобы пальцы девичьи смычок держали. И чтобы в лаке – ногти.

И звуки тонкие, прозрачнее вуали.

И звезды погасшей, умершей в реке родниковые огоньки!

И ты – уста, касанья руки.

Бег строки.

Не убивай эту бабочку.

Побереги!

О, вы, рождённые в шестидесятых,

нам с вами основа одна и эпоха!

Давали вы все октябрятские клятвы,

обещали «служить идеалам до вздоха»!

Обещали. Неужто, все клятвы невечны?

На школьной линейке, где солнышко в окна.

О, наши худые пернатые плечи

и детские тонкие шеи! И речи

волокна

вожатых, директора школы уральской.

А вы, что родились в тех шестидесятых,

неужто забыли, чему каждый клялся?

Чему присягал честно, звёздно, крылато?

Неужто забыли свои вы отряды,

и память в осколки разбили, в распады,

под слоём иного, простого, земного,

рубаша, мол, ближе своя, мол, мещанство,

и власть золотого тельца, что кондова.

Неужто мы станем тем самым уловом

для долларов, чуждого мира, для глянца?

О, как мы клялись! Дорастали до ликов.
Тянулись к вершинам. Мы – Богоязыки,
мы – Богоподобны. Мы – Божии дети!
Мы были тогда, мы росли сквозь столетья,
корнями тянулись сквозь землю, сквозь солнце,
корнями мы космос тогда пробивали
до самого Марса, до самого донца
в его изначалье!

О, наши Атлантовые разговоры!

О, рёбрышки под куполами одежды!

А нынче, где сердце, весь мир мой распорот,
а нынче, где правды, сквозят только бреши...

Как будто подпилены оси и стержни.

О, где же вы, где же

мои сопричастники, клятвоучастники?

Мои соплеменники и современники?

Мои соэпохники, шестидесятники,

мои виноградины вы и Царь-градники,
шабры, шукшинята, друзья и ботаники?

Я правду свою – эту первую правду
вовек не забуду. Предать не сумею.

За други свои! За отца и за брата!

И чем старше я, тем сплошнее, стальнее
на уровне песни, на боли набата
звучит моя клятва!

Моё мировоззрение. Я не могу от него отречься.

Могу лишь растечься рекою в него.

Моё мировоззрение, как дом без крылечка,
скала отвесная, моё естество.

Как вена рваная в него плещет память.

Вспоминать больно. Не вспоминать больнее стократ.

Если бы живою была, что сказала я маме
про то, что случилось, и кто виноват?

Что продан завод. Разорён комбинат.

Я слова свои беру – выкорчёвываю.

Но остаётся основа, позвоночная кость,
из которого весь образ, как белым по-чёрному,
словно в ладошку гвоздь.

Так в меня моё мировоззрение вточено!

Ввинчено, вбито, вколочено. Я и сама уже – в ключья.

И сердце – в ошмётки, в куски.

Но слышится дальше: «Доченька,
не предай! Сохрани! Не разбей от тоски!»

Божьих заповедей – десять.

Материнских – вся жизнь.

Моё мировоззрение – мой панцирь.

Я его отрастила, как песню.

Я его обточила до призм,

до космических, звёздных субстанций!

Мамочка, мамулечка. Я за него держусь.

Я – над бездной. (О, не сорваться б!)

А руки соскальзывают. Ветер пронизывает. Хруст слышится пальцев. Захожусь, словно в бешеном танце.

Не отрекись! Всё равно не прогнусь! И не сдамся!

Ни власти. Ни горю. Ни бедам. Ни улице!

«Глагол с глаголом – кричу – не рифмуется!

Участие в конкурсах – преступление!

Не надо медалей. Ни грантов. Ни премии!»

Моё убеждение. Мироззрение

превыше всего. Не уйти. Не укрыться.

Не выскрести мне из себя, словно принцип.

Оно приросло, словно к коже рубаха.

Я слышу, хотя я оглохла до Баха.

Я вижу, ослепнув почти до Бочелли.

И не отрекись на кострах. На расстреле.

Родная моя! Моя лучшая в мире,

не бойся, о, мама, мне ноша – не гири!

Не тяжесть земная! Не камень. Не плаха.

Воззреньё, как мироззреньё. Пареньё.

Как миродареньё, как миротеченьё.

И денно, и ночью моё продолженьё.

Свеченьё. Сраженьё. И смерть и рожденьё!

Спасенье!

Воительница хороша перед битвой.
Выходит в поле. Всё тело пылает.
Молочная кожа дождями полита.
Всё тело, как рана одна ножевая.
А жизнь, что мгновение.
Если цепляться,
как мы за удобства, зарплату, уюты,
тогда нам не слиться в безумнейшем танце,
вот в этом багрянце. В нас цепи. В нас путы.
Воительница лишь одна. А нас – груды.
Мы – руды. Мы – воды. Мы – эти вот камни.
Мы – эти пески у неё под ногами.
Хотя б не мешайте закончить ей танец.
И дотанцевать перед битвою смертной.
Она не из этих салонных жеманниц.
Она – для победы!
О, женские руки, о, грубые пальцы,
о, длинные косы, что по ветру выются!
И знаю, что ей, как и мне не остаться.
Я знаю, разбиться, как будто бы блюдце.
И ноги истёрты. И сломаны «руцы».
И выбито сердце.
Но, нет, мне не страшно!

Я длюсь, продолжаюсь.

Ни взгляда! Ни блажи!

Мой выход искрит взмахом электростанций.

И я захожусь, как в экстазе, от крика.

И я восхожу Ярославной до Плача.

Всю вечность я перелила в память мига
и хлещет она, словно кровь всех палачеств!

Мой выход проплачен. Озлачен. Закачен.

Я танцем своим обещала всем людям
себя переплавить, как воду в сосуде.

И мне ничего не осталось иначе...

Как хлеб из печи, по кускам её рвали.

Она – караваем огромным на блюде,
на белом льняном полотенце, в крахмале
тугих облаков, золотых изумрудин –
моя Атлантида! В пятнадцать республик.

Моя кумачовая – цвет земляники!

И каждый из нас нынче клятвоотступник.

И в каждом из нас, словно Каина блики!

И каждый из нас молвит: «Разве я сторож?»
как будто в иступе!

Сначала Прибалтика шпротой копчёной
да в масле, да в пряностях, жёлтая, в жире
отъята была. Помню день этот чёрный,

осталось двенадцать. И их растранижим!
От щедрости нашей больше всех бедным.
Расклёвано тело моей Атлантиды,
растащено в чьи-то карманы, в монеты
пушнина и золото, лес заповедный
в спирали, в безвременье и в пирамиды.
Как вспомню, кричать мне от горя охота,
да что проку горло срывать мне до хрипа?
Моя Атлантида раскрыла ворота,
до сердца раскрыла, до пения скрипок.
До содранной кожи. До выданных рёбер.
До рваных подкладок. Младенческих цыпок.
И кто же осмелился, кто же сподобил
такой быть распахнутой, выпитой, битой?
Теперь помывают моей Атлантидой.
И гвозди ей – в пальцы.
И в ноги ей – биты.
И в сердце ей пули из меди отлиты.
И ей арестантские роботы.
Кредиты.
А детям, что мы нарожали, сыночкам –
война в Карабахе.
Афгане. Донбассе.
Ещё наркотрафики и наркоточки.
А нам, матерям, смертный саван, сорочки.
И в снег оседать, пыль российскую красить

своей атлантидовой кровью. И точка!
Моя ты родная! Остался лишь мякиш.
Остался последний космический сгусток.
Каким ты куском, расскажи мне, заплатишь:
неужто вон тем, что зовётся искусством!
Ужели его на съедение волку?
Ужели его в прах и грязь гвоздяную?
И камень на шею. И в матушку-Волгу,
как деву живую?

АТЛАНТИДОВЫЙ ЖАР

1.
О, красная-красная кровь Атлантиды
по венам моим – и судьба, и причастность.
И, связанной мне, не исчезнуть из вида,
и, сцепленной мне, не уйти, не погаснуть.
Ужель из себя, из своей оболочки,
из этого тела, из белых поджилок,
лучей инфракрасных, времён тех, что в клочья
во мне растекались так яростно-прочно,
как будто от центростремительной силы;
о, красная-красная кровь Атлантиды.
тебя не покинуть – себя не покинуть!
О, как за предательство больно и стыдно,
о, за отречение как мне обидно...
Зачем не прогрызла я чуждое небо

до правды, до истины я, до победы?
Зачем из груди, из тугого корсета
её, полумёртвую, выдрала в Лету,
мою Атлантиду? А в венах, а в генах,
в моём полушарии женского мозга
и в пазухах, сгибах моих сокровенных,
и даже в сомненьях, отгадках блаженных,
и даже у горла, где вспухла жёлёзка,
во всём и повсюду в меня хлещет память!
О, жгучая память моей Атлантиды!
Не вынутся, не истребятся, не канут
родные планиды!
На грани, за гранью хоть будь суицида.
Но есть нечто большее, чем не убита.
Ни хлебом, ни зрелищем,
что внутри вжато
в бессмертья мои. За бессмертья расплаты.
Вот в эти объёмы, что сердце по венам
качает по малому кругу, большому.
Моей Атлантиде не быть убиенной,
коль кровь её в жилах течёт незабвенно
не только в моих, но и в ваших: ведома
к той самой одной шестой часточки суши
по нитям её по кольцу золотому
к истокам, началам её затонувшим!

2.

Я в тебя впивалась глазами,
словно хотела втянуть тебя вглубь себя через зрачки.

Я для тебя омывала слезами
этот отрезок строки.

Я для тебя, в кровь сбивая ладони,
глину долбила, сметала пески.

Ибо вон там, под землёй плачет, стонет
слой Атлантидовый смятый в куски,
весь – в черепки.

А в нём кирпич битый, стёкла, горшки.

Я для тебя... для кого же ещё мне
в поисках биться? Вмурованный плач
мне атлантидовый, словно в оффшоры
перевозить, как реликвию,
чтобы

светом мне в сердце вонзался скрипач!

О, эти тонкие ниточки песни,
о, изначально, утопия, нерв,
горло пробивший. Ах, милый, воскресни!

Милый, воздайся! Из порванных неб,
из-под завалов земных, марианских
впадин, из зарева мёртвых людей,
птиц и зверей да из углиц славянских,
видишь: я в платье, облитом шампанским,
милый, владей!

Нынче не счесть мне вокзалов и рынков.
Камни священные в днищах ищущих,
пеплы святые. Дожди и снежинки
те, что растаяв, стекут по плащу.
И отголоски моей, непогасшей,
вскленье перебитой утопшей страны.
И это было когда-то всё наше.
Наше! Так наше! Исконно! Что сны.
Были вольны мы, безудержны, плотны
в космосе и в атмосферах земных,
токопроводны и чистопородны,
были крылаты, икарово-взлётны,
нет нас! Псковских, скоростных. Никаких!
Наши сердца все в раненьях сквозных.
Мы в замурованных плачах над бездной.
Не в холостых, не в женатых, не в местных
мы не в одетых, обутих, в нагих.
Мы – в никаких!
А у нас под ногами
вечно искрит прометеево пламя.
Я вся в ожогах его невозможных.
Хор Валаамский и батюшка Юлий:
«Свято и присно, безумно, подкожно
кровь атлантидову разве что пулей
выщедить можно!»
Не приходи. Отступись, мой любимый,

если в меня ты войдёшь – обожжёшься!
Насмерть в утробе моей испечёшься.
Мимо иди! Мимо плачей голимых
тех, что в скале, ибо в месиво – солнце!
В месиво – сердце. Уж лучше повесься!
Ибо во мне не слова, не обиды,
а нынче кровь хлещет всей Атлантиды!
Я из её состою плазмоциды
да из разрядов я высоковольтных.
Даже, где мягко, там всё-таки колко,
даже, где слышно, там вовсе нет слуха,
Я – не спасение. Я – крепость духа.
О, ты бы мог придти. Но все дороги
под воду, по меду, в полымь и в прогиб!
Мог бы придти. Не придёшь, ибо – море
горлом во мне и во всём братском хоре,
море и в сердце моём, как в моторе,
море – в опоре.
А под его волновой синей складкой
боль Атлантиды под детской подкладкой.
Ты бы хотел, но пути нет, нет следа,
красной петлёй – атлантидово небо!

3.

Хуже пытки! В солдатика – я оловянного,
в – Ванька-встаньку, в матрёшек ли я – хохломских,

не надеюсь на сладкую Божию манну я,
позавидуйте плачущей строчкою рваною
на ветрах, во дворах, площадях ледяных!
Позавидуйте мне! Целый год на Покровке я
продавала, ходила стихи за пятак.

Как мы жили с семьёй в коммуналочке крохотной
в тех лихих девяностых. У вас было так?

Что же мне не завидовать, правду ли, ври ли я
хоть с три короба. Возраст себе убавляй.

Позавидуйте так, как казнённой Марии, мне,
что царь Пётр целовал. И как пахла земля

Атлантидовой кровью. Пьянею от запаха.

И как небо до звёзд моё было распахано,
так я тысячу раз начинала с нуля!

Как три года была я гонима подругою,
как я предана в тридцать иудиних драхм
да по курсу с обманом, коварством и руганью
в социальных сетях.

Белой завистью, словно бы крылья стрекозы,
чёрной завистью, словно бы выкрик кликуш,
выдираю из сердца, как будто в наркозе
все терзанья, шипы, все упрёки занозы.

Но люблю всех предавших! Убивших! Всех вруш!

Я себе позавидовала б! Но не стану!

Я себе бы ответила – другу-врагу
на Оке ли, на Волге л моей разливанной

да на пряном лугу:
я всё также (завидуйте!) в сонме событий
не за грешную душу взываю, пою
лишь одно: «Да снимите, молю я, снимите
со креста вы Россию мою!»

...всем хлебА – нам хлебА,
всем пальба – нам пальба,
всем мольба – нам мольба,
всем гроба – и нам так!
Ибо русскость, что крест. Что затерянный знак
в пряном сердце, в глубоком, палящем живом!
Не закрытым дубовым (хоть надо!) щитом!
Из кленового воду мне пить из ковша,
снег метельный колюч, ветер знойный шершав,
на лугах васильки, гори-цвет, черемша,
русский говор на «о»,
русский говор на «а»,
русский корень запрятан в тугие слова.
Он в тебе и во мне, он сквозь нас и сквозь всех,
космос жаркий пробил, Богу в сердце проник,
это мой русский люд в жерновах русских вех,
это млечная вечность – мой русский язык!
Я в потоке одном и к плечу я плечом,
тот, кто к нам с пулемётом, огнивом, мечом,

тот, кто с пулей, стрелой, камнем и кирпичом,
тот напрасно, зазря. Тот совсем – дурачьё.

О, не надо к добру кулаки пришивать,
о, не надо к хорошему, светлому – нож
заострять, наточив. В нас издревле жива
память хлещущая из артерий, что дождь!
Хоть совсем искорёжь, всё равно не возмёмшь!

Русский люд, я с тобой, я в тебе, за тебя.
русский люд – это выше и дальше, он – путь.

И на плахе я буду вопить: «Ты судьба!»,
и на казни я буду молить: «Рядом будь!»,
нынче я у высокой, кремневой стены,
мы – наследники красных титанов – вольны.

О, спасибо тебе, Богородица, я
в тех была временах. И вся наша семья,
все едины! Как сталь, вещей мы монолит,
а сейчас всё кровит, все безмерно болит.

А сейчас то разор, то резня, то дефолт,
словно льдину ломают.

Под воду ушёл
самый лучший, бездонный, любимый кусок,
неужели, Украина? Где взять мне платок,
чтобы слёз утереть, русских, вещей поток?
Атлантидовый край мой! Как ты одинок,
исчезаешь из виду. Хрустальная Русь,
о, обнять бы тебя!

Оглянуться боюсь...

Пусть будет из моих тягучих псалмов и молитв,
пусть будет кому-то Царь-градовский щит,
тонкий лёд Атлантид!

Всем, в ком я умираю пофразно, построчно, последно
или совсем без следов.

Любимому моему! (О, поцеловать бы его подмышки, осо-
бенно родинку слева,
которая снится,
от нежности тая, от слов,
от всех айсбергов и всех «Титаников» помнить части-
цы...)

Всем, в ком я ещё теплюсь, всем, в ком я ещё жива,
всем, в ком я ещё дышу, ещё говорю, пишу, надеюсь.

Им не обязательно помнить, им проще, чтоб трын-трава,
сходная с землятресениям в аверс его и реверс.

Им всё равно не продолжить дело моё. Они
слишком тепличны, когда помнить меня обещали.

Я обращаюсь к тем, в коих мои огни,
махонькие, горят между иными вещами.

Между «прости и прощай». Между, где рвётся мной нить.
Между борьбой и уютом, выгодой и ленцою.

Не приносите букетов. В вас я не сбудусь. Не быть.

Не восходить. Не кружить. Не говорить в лицо мне!

Просто пищу я письмо вам. Рву. И опять пищу.
Я умираю в глагольных рифмах и недоподругах!
В чьих-то обидах не равных ломаному грошу,
в сплетнях, в закрытых дверях, в чьих-то свинцовых коль-
чугах!

Но вот такая – больная – видно, поэта судьба!
Но вот такая – большая – видно, в груди плещет рана!
Вечно себя отпеваю в чьих-то чужих я гробах,
в чьих-то чужих языках, на остриях, нирванах.
Видно, сама себе я – цель и сама – урок!
Вот я возьму и воскресну! В вас! И не в вас! И в похожих,
ибо я – не итог. И не ложусь под каток
этих чужих дорог, этих земель придорожных!
В сон свой любимый и в сок этих берёзок в лесу.
Пей, вспоминая меня, вдоволь, в исток напейся!
Письма мои, как глоток, словно у провода ток,
лейся в меня – спасу! Право же мир, не тесен!
Поутру в серебре пальцы от этих строк.
Как в серебре мой крестик.

Я не размениваюсь на обиды.
Я не растрачиваюсь на них.
Хочу, как солнце кричать: «Гори ты!»,
хочу Дантесом я быть убитой
в российских рваных снегах живых!

Хочу, как травы.

Хочу, как рыбы.

Хочу молчать. И не помнить бед.

Пусть камни вслед – но какие обиды?

Пусть раны в сердце – но в ранах свет!

Опять же солнце. Опять же люди.

Обиды – слабым, пустым, что дым,

а мне прощение, как орудье,

а мне любовь к непрощавшим, им

мужчинам, женщинам. Мерить ссорами

ужель возможно короткий век?

Раздраем, сварами и раздорами,

затмением, мщением и укорами.

Уймись, бессолнечный человек!

Уймись, обиженный и нанизанный

на острый сабельный штык обид!

Ты мной ушибленный укоризною,

в тебе мой весь Арарат болит.

В тебе все нити мои Ариадновы,

в тебе, о, мстительный, зуб за зуб,

своей обидой навек обкраденный

иль на два века – в соцсеть, в ютьюб!

А ты мне дорог. А ты мне люб.

Пусть буду я эпицентром Дантовым,

пусть все круги – я, как есть, вокруг.

А китежградским – тире атлантовым,

нет, не присущ мне обид недуг!
Вот сердце, сердце да в рёбра – вожжами,
вот мысли, думы – в разрыв, клубя.
...А я готова рубаху с кожей хоть
отдать последнюю за тебя!
И жизнь готова – бери всю, властвуя,
себя готова – в горнило дня.
Глоток последний воды ли. Яства ли.
Прости меня!

Хотя бы издалека, через фейсбук, через строчки проре-
женные
просто не могу налюбоваться,
через эти туманы, дымы бежевые
через вк, стихиру, как песок сквозь пальцы.
Через портал Светланы Скорик,
через друзей узнавая новости,
нанизываю их на сердце, штормящее, как море.
Если бы могла, то проникла сквозь лопасти, полости
твоих библиотек, как Татьяна Ларина, выискивая
«черты его карандаша». Твои – в смысле Евгения Онеги-
на,
страницы перелистывая, твои зоны, твои списки, риски и
рифмы, публикации, теги.
Прислонясь к твоей Альфе, Омеге,

выполаскивая твой мерцающий контур в небе,
думая, вдруг пригодится тебе моё знание, понимание, со-
средоточенность, подписки
на лейблы,
разглядывание твоих медалей и значков.
Если некому, то я могу тобой восхищаться,
быть поддержкой, опорой, жилеткой, сверяльщицей часо-
вых поясов,
выясняльщицей причин. Могу быть твоей папарацци.
Могу находиться поодаль. Вблизи. Под рукой.
Когда ты слишком пьян, могу подвозить тебя к дому.
Если мне бывает трудно справляться с тоской
по тебе без тебя, по тебе и с тобой.
всё равно я кричу тебе: «Слушай, не вой,
сама виновата, что с головой
в омут!
Ещё шесть лет тому назад, бросив мужа,
который бы тебя никогда не бросил,
который тебе вечно прощал столько измен – в солнце, ве-
тер и стужу,
в суровую осень...»
А затем, когда с любовником ссорились, обижались, рас-
ставались
до криков, кровоточащих дёсен,
то я слышала, как рвались-пузырились оси.
А теперь я себя спрошу, что ты хочешь? Просто коснуться

губами его ран?

Которые сама же ему нанесла.

Сколько их шесть? Восемь?

Или больше тысячи? Что ты хочешь, орден, поощрение, грант?

Или пан, или пропал, твердишь, прости меня последний раз. А надо сказать, не прощай меня, закрой двери!

Поставь решётки. Замки, железного льва и коня.

И не верь мне!

Прогони. Верни туда, где мне привычно, выгодно. Где зарплата мужа.

Стабильность. Дом. Куча мелочей личных.

Сад. Огород. Бабло. Ужин.

Не подноси к огню спички.

Не поджигай меня, как чучела Маслениц, Кострому, не втягивай в хоровод возле кучи хвороста, дров, сухостоя, травинок.

Я же всё равно потом ничего не пойму.

Буду ходить, как мёртвая после своих поминок.

Не смею спрашивать, за что

Господь послал мне испытанья?

Иду, шатаюсь. В решето

дождём пробито небо. Ранние
здесь звуки блёкнут в тишину.

Здесь речи гаснут прямо в горле.
И если я сейчас вздохну.
Или дождинку я слизну,
или слезу одна в одну
по цвету, запаху и соли
из этой занебесной боли.
Итак, за что мне испытанья?
За то, что я грешна, слаба,
за то, что фобии и мании,
во мне любимого касания
растут, как будто бы хлеба.
За то, что где-то в выси, там
богоподобного от века
создать пытались человека,
чтоб он был чист, чтоб он был прям,
нет, невозможно! Я – пыль, хлам,
умеющая плакать в рифму,
читать у Блока: «Да, мы – скифы!»,
крошить в куски шершавый грифель.
Стирать. Рожать. Рубахи шить.
И губы в кровь кусать: «За что же
мне это испытанье Божье?»
Как отрастить на сердце щит
непробиваемый? Ни пулей,
ни словом злым, ни долей-дулей,
свинцовым камешком пращи!

Выслёзываю! Как не плакать?
Выплачиваю! Сотни плат
вдвойне, втройне из прежних пагуб,
ошибок, пустозвона, звяка,
шестых палат. Седьмых палат...

Меня мои стихи казнят!
Распнут! (Венец терновый, гвозди!)

А я хотела – лавры, розы,
а мне Сальеревый лишь яд
на завтрак, на обед, на ужин.
За что же это? Ну же, ну же
скажи! В упор, в глаза, во взгляд...

А ночью – сон. Из сонных крошечек.

Я слышу, как вбивают гвоздь
опять же в Божию ладошку.
Всё также грубо. Больно. Вкось.

Коль не спится, то я посчитаю сегодня слонов.
Просто руку мне дай. Я ладонь буду гладить твою.
Там в театре у нас драматическом вновь «Годунов»,
я афишу заметила белую, словно ладью.
Ничего не поможет ни этой земле и не той,
все иные слова мне, что выстрел суровый в упор,
все иные слова кружевные все до запятой,
и резные, и хрупкие, с радужною простотой
не помогут! Нужны мне слова, что снега прямо с гор.

Слово-камень.

И слово-металл.

Слово-ствол.

Ты пригладь мою прядь. Обжигаюсь о собственный стих.

Меня рифмы спалят: только пеплы гуляют внутри!

Это слово-граната, слова мои, как бунтари.

Остальные – Дантесы, Дантески – они кустари!

Их слова – что данайцы, несущие сладко дары.

Сквозь меня льётся космос. И марсы. Тугие миры!

Одного я хочу: лишь ладонь твою поцеловать,
дорогой! Что слова? Что иные мне нынче слова?

Ушибаюсь о них. Запинаюсь. О них – я мертва!

Я о них – невозможна! О них я банальна, как все,
молода, весела даже в чёрной моей полосе
я – бела...

И ты мог бы принять меня с ними, такую, как есть:
с неудачным замужеством, выжатой словно лимон,
с маникюром не сделанным, а на колготах – вот здесь
снова стрелка. Ещё от мытарств вечный стресс,
и с гастритом, с депрессией до перебитых небес,
и распухшей от слёз (прячу щёки я под капюшон)!

И обид – триллион.

И у платья помятый шифон.

Я же в прошлом году от тебя уходила зимой.

И бросала вослед слово-камень. И слово-металл.

Слово-ствол. Слово-нож. Но ты снова, ты снова со мной.

Без меня ты устал.

И опять принимаешь с железною болью в груди,
и со всеми зацепками, всеми оценками правд.

Свою руку кладёшь мне в ладонь. Обнимаешь: «Входи!»
Говоришь. Иль молчишь, говоря: «Был не прав...»

ИСПОВЕДАЛЬНОЕ. СИЗОВУ

«Три покосева» твой рассказ.

Вот Ветлуга и Красная горка.

Ты был самым правдивым из нас.

О, как звонко копытцем Пегас
твой искрил разноцветием зорко.

И вода распускалась в ведёрко
дождевыми цветами на Спас.

Как мы были беспечны тогда!

Безнаказанно молоды были!

А в сердцах у нас – города,

Карфагены из зноя и пыли

выполаскивались в небеса.

Ты, наверно, любил нас – солнцем!

Нас – непризнанных стихотворцев.

Ты любил нас рощей, колодцем,

где ведёрко. Где плёс. Где коса.

Всё для нас было смыслом: твой сад,

твоя комната с лёгкой шторой.

...Вот и время для разговора

мне с тобою пришло в сентяб^рях,

мне с тобою – глаза в глаза,

мне с тобою – упор в упор.

Мне с тобою, но без тебя.

Все слова – все в горсти. Все – спор!

Вот и время пришло, как затвор

автомата. В висок. Наповал.

Я-то помню, что ты мне сказал,

за столом: чай, баранки, кагор,

что поэзия, как минерал,

что поэзия – это сорт

умирающих роз. Зазор

между космосом, интервал.

Что стихи тебя, Света, распнут.

Ты был прав: в колокольный шквал

я распята и здесь, и тут...

А ещё изопьют. Сожгут. И полсердца они сожрут.

Разотрут. Призовут. Умыкнут.

И – под суд. Ладно бы под суд

этот Божий, а не людской.

Ах, мой друг. Ах, Сизов, свет ты мой!

Я – в Варнавине. День-деньской.

Ещё ночь.

Ещё век. Ещё жизнь.

Я себе говорю – держись!

Я себе говорю – не ной!

Все поэты стена стеной.
В каждом ангел живёт земной,
простодушье и Дон Жуан,
Дон Кихот, Санчо и смутьян,
спорщик, выдумщик и мудрец,
Маяковский – в себя стрелец
и, конечно, Омар Хайям.
Вот погиб Пушкин в тридцать семь,
в сорок девять писатель Сизов,
в тридцать умер Есенин. А Лем
прожил дольше («Солярис», «Эдем»),
и от астмы скончался Лесков.
От писательства есть ли прок?
Если ли выгода? Нужность ли есть?
Быть писателем русским – рок,
быть писателем русским – крест.
Быть писателем русским – боль,
быть писателем русским – миф.
Впрочем, нам повезло с тобой,
ибо сердце всегда – на разрыв!

А. А. Сизову – писателю из Варнавина
Поэт живёт открыто, не стыдись,
всего грехов-то книги, книги, книги,
всего грехов-то сердце напоказ,

и в этом сердце люди, время, лики,
и в этом сердце лунки, горы, крепь,
все десять заповедей, как иконы в храме.
Стихами можно петь, любить и греть,
я умираю каждый день стихами!
Стихами по Ветлуге, по Оке,
стихами – честно, где Варнавы пустынь!
Когда плечом к плечу, рука к руке
сорокоустно!
Который год – но еду! – я к его
началу, родине берёзовой, еловой,
где марсианских кратеров число
равно словам писателя Сизова.
Вот лишь сюда, иконку захватив,
придти, чтоб вечность разменять на миги.
Всего грехов-то песенный мотив,
а остальное книги, книги, книги.
Душой нараспашку, как могли,
сдирая кожуру безмерных жизней,
отдав последнюю рубаху, я земли
не знаю чище – предков, рун, коллизий.
По дереву мне, что ли, постучать
иль выйти в поле и воскликнуть: «Дай им
вот этим людям – деток и внучат -
побольше Божьих нарожать созданий!»
Чтоб в них мог перелиться, как в кувшин,

когда фундамент крепок, о, создатель! –
природы-матушки достойный, нежный сын –
Сизов писатель!

Место смерти – прочерк.
Время смерти – прочерк.
В небесах пристрочен вы, Борис Петрович!
Неземною силою к площади Корнилова.
Люди, люди милые! В эти камни стылые,
в сердце – крест вжимается,
воплъ в него вмурован!
Мы – под током провод!
Музыкою «Встречного»
нынче плещет город.
Деревянный, искренний, хохломской, ложкарный.
А у этой пристани нынче день базарный!
Я его читала бы красочно, позвёздно,
поцветочно, талово – пеплы, ветры, воздух!
Но почём матрешки? Но почём коняги?
Керженец повздошно тащит ил, коряги.
Долею крестьянскою, долей огородною,
дачной долей тянется лето – хитрой своднею.
Площадью Корнилова. Рощею Корнилова.
Не стрелять, помиловать!
Не искать могилу мне!

Где ж поэта косточки?

Лишь сплошные прочерки!

Место смерти – прочерк.

Время смерти – прочерк!

Значит, петь вот в этих мужиках рабочих!

В женщинах, детишках, свадьбах, рифмах, буднях.

Даже после смерти длиться, длиться в людях!

Вот такую справку, как кардиограмму,

принесут под утро – успокоить маму!

Место смерти – прочерк.

Время смерти – прочерк!

В небесах пристрочен.

Значит:

жив сыночек!

На родине Бориса Корнилова

Что ходить мне не причащённой?

Причастите небесною силою!

Причастите меня, я – крещёная,

причастите дорогой мощёною

и убитым Борисом Корниловым!

Хохломою вот этой хвалёною!

И матрёшечной его родиной!

...А в груди у меня – колдобины,

а в груди у меня – кочевье,

с корнем вырванные деревья,
о Борисе Корнилове – раны.
Об Есенине – умер рано
(от злословья, от зависти, травли),
о Цветаевой ноют корни
прямо в горле – всё горше, упорней.
Прорастаю чужою болью
и бездонной, огромной любовью!
Вот хожу по чужим погостам
по Елабужским да Московским,
Петроградским, Сибирским, Уральским
и таблички читаю: «Схоронен
здесь поэт», значит, сорваны маски.
Значит, выжжены снова Трои!
Значит, порваны снова корни!
Причащаюсь я так, чтоб вровень,
причащаюсь безмерно-вселенским!
...А поэта «лепёшки коровьи»
вдохновляют и муха на стенке!
Кто, признайтесь, поэтов гнобили?
Я хочу имена знать эти!
На причастье иду –
мне лилий
чистота нужна на рассвете!
Отмываюсь от грязи и пыли.
Признавайтесь, кто их убили?

Власти? Недруги ли? Сатрапы?
Государство? Зверье, безумство?
Но холую – всегда холуйство,
графоману – всегда бездарство.
Уберите грязные лапы
от поэта. Уж лучше – насмерть.
Все поэты пожизненно смертники
каждой строчкой своею спелю
и на горле разорванной жилою.
Причащаюсь Борисом Корниловым,
ничего с этим не поделаешь!

Это раньше, в серебряном веке стихи почитали.

Это раньше, в античности умные греки гордились Гомером.

Собирали слова. Их выковывали на металле.

А теперь что? Глаголы с глаголом? Химеры с химерой?

А ещё в век торговли и выгодных сделок, как нынче,
нанимают рабов-литераторов разного жанра.

Например, чтоб творить детективы, сценарии. Конкурсы.

Спичи.

А поэзия – это одна родниковая рана!

«Я – не раб. Ты – не раб!» – выводила мелком, помню, в школе.

Все рабы были проданы в рабовладельческом строе.

Все рабы были куплены! Нынче свобода, раздолье,
говори всё, что хочешь,
пиши все, что хочешь. Стань Роем
или Надей Черных (псевдоним Делеланд) попытайся!
И войди в ту десятку, когорта, где занято место!
В наше время распроданных ваучеров. И в век Чубайсов.
В наше время смешения нижегородских с китайским
всевозможных наречий, смещения осей – было б кресло!
Были б деньги. А Каин с Иудой, конечно, найдутся!
«Капитолий, изъеденный ржавчиной» нынче содвинут.
Хочешь книгу? Ищи мецената. Иль спонсора. Вытяни

«руци»

для прошения, для поклоненья, что ветки рябины.
Выдирая свой корень из самого сердца – так больно
сознавать о падении нравов, безвластья искусства.
И беспомощности. И замшелости краеугольной.
...Будто трогаю пальцами в соках сладчайших, сивильных.
Пятьдесят книг пророчеств, буколики в цифрах, заклад-

ках

неразгаданных вижу. И как после этого жить мне?
Как спокойно ходить? Если пенья вмурованы в кладки?
В соляные столпы, в эти рвано-кровавые ритмы?
Всем поэтам – по гранту! И каждому тысячу или
миллион почитателей. Залы! А их голоса сценам, паркам!
Всем, как Данте, чтоб по Беатриче взрастили.
По Лауре – Петраркам!

О, Господи, о, если б знать,
кричу по-тютчевски, о, знать бы!
С кем горе, радость? Благодать?
С кем похороны? А с кем свадьбы?
С кемхватишь лиха? Кто печать,
а кто тавро, как проститутке
на голом, розовом плече
тебе прижёт? С кем сладко? Жутко?
А кто – никем? А кто – ни с чем?
Кому печаль свою повем?
Кому я – кров свой, жизнь и кровь?
Кому скажу: «В моей постели
ты войны пережди. Метели!»
Да что в постели? Ты во мне,
на мне, со мной, в разверстом теле
зайдись зарёй. Зачни сынов!
Меня, убитую по-зверьи.
Меня, разъятую по-птичьи.
Когда не тем открыла двери.
Ни к тем была я фанатична,
рябина, ягодна, клубнична.
А надо было быть металлом,
кусочком проволоки костной.
О, Господи, о, если б знала,

всем – не дано! А мне далось бы!
Меня бы так не предавали
отменно, грубо и двулично
те, кто мне улыбались в зале
среди зеркал. Я тех ли кличу?
И тех ли прижимаю к сердцу?
Впускаю в душу стаей, ратью,
мне на болячки – соль и перцы,
где Каины снедают братьев
и каждый молвит: «Я не сторож!»
А жизнь – мучительным касаньем.
Коль каждый плач во мне распорот.
Коль каждый колокол в соборе
в груди моей – всё мирозданье,
где город-Китеж и Царь-город!
Но дайте список, свиток, знанье
что будет? Если в древней ране
все лица! И мне каждый дорог.
И бывший друг. Никто на берег
не выронен. Ни друг, ни ворог!
Ни любящий. Ни тот, кто верит.
Ни Тал. Ни Прометей. Ни древо.
Ни русской плоти корневище.
Ни девять рун. Ни солнц напевы.
Ни красноглинная земля.

Маленький мой, миленький, отмолю
я у всех невзгод тебя, островов Марианских,
под подушку недаром в колыбельку твою
я иконку клала по-христиански!
По-Юлиански все календари!
По-старославянски все древние тексты.
Ещё когда ты был у меня внутри
и слушал ритмы моего сердца.
А теперь! Это же надо ты вымахал как!
Школа, институт и служба, и армия!
А нынче в мире пиры вытанцовывает сквозняк
на все свои, сколько есть, полушария.
Девушка – белые волосы изо льна
та, что вчера тебя бросила.
Как же она могла? Как же могла она?
Так поступить, стоеросовая?
Ты, словно Ивашка у ног её льды,
ровно укладывал кубик к кубику!
И ты пылинки сдувал, целовал следы,
ты извергал эти маковки бублику!
Это из сцены: что нас не убьёт,
то искорёжит до деформации.
Другая придёт – сахар, нектар, мёд,
жаркий песчаник кварцевый!
Баррель поднимем. Вырастим Арараты в кистях.

Алые паруса сошьём из бархатистого ситца!

Мамы они такие – не унывают, не льстят
и не стареют, пока их белокожи лица.

Но если что-то, то враз
волосы в белой позёмке...

Шрамы вся жизнь, ты пойми, – не экстаз!

Эрос, Сизиф и головоломки...

Мир – на крови. Пенье, звон гильотин!

Скрипку нещадный Нерон прижимает к предплечью.

Женщин безумство, продажность, наркотики, сплин
душу калечат.

Если пожарищ несусь я тебе города, имена,
всех от века начального войн в генетических кодах!

Ничего я исправить, хоть надо бы, но не вольна,
боль за державу, страдания, дерево рода!

Смелый мой мальчик, тебе я вручаю сей меч,
луки да стрелы, что прадед сковал богатырский!

Как мне хотелось тебя от беды уберечь.

С первой бедой
ты – сразился!

Вот этого ребёнка из тьмы времён,
вот этого, чья под завалами погибла мать.

О, малыш мой, крохотулечка, ты рождён
в неурочное время. Умоляю, не погибать!

Я к тебе – руки! Настежь – тело всё!
Я к тебе – чтоб укрыть, оберечь, унести!
Я не помню, война с кем, за что, кто спасён,
кто сражён? У кого земля наша, в чьей горсти?
Я не помню, чья эра? Но Божье чело,
как в горячке под сорок и бисером – пот.
И добро раздробилось. И зло протекло.
Это, словно в куски разметалось стекло.
На коленях прошу – землю я небосвод:
там ребёнок! А ножки устали идти.
Он не плачет уже: только стон, только всхлип.
Мне его приласкать бы: дать мёд и сыр.
На ночь – сказку! Ещё есть Марк Твен. Шекспир.
Я умею детей поднимать! Я – мир!
Будет музыка, книги, цветенье лип.
Будет, будет! Рву время! Во сне, наяву!
Белый свет, как ты можешь так жить сейчас?
Сквозь погибшую Трою дитя я зову,
Карфаген прогоревший и сквозь Донбасс!
Я сама – лишь лоскут в этих звеньях, цепях,
я к другим лоскутам с краю пригвождена.
Есть картина с названием «Мать и дитя»,
а на небе – звезда! Я – сплошная вина!
Я спасаю... выхватываю я, хрипя,
замурованный крик твой безмерно родной
и задавленный плач за огромной стеной.

Жизнь в тебя переплавлю, сколь хватит, мою,
если можно, о, Господи, всю перелью!

Какая из меня свекровь получится? Ты только представь!
Добрая ли, справедливая, лучшая? Мама мам?
Мой кареглазый! Мой сын – правь, навь, явь,
молитвослов мой, псалтырь мой и нотр-дам.
Перелила в тебя жизнь. Я – сосуд древнерусский, кувшин,
ты перельёшься в детей своих будущих: плоть, небо, звук!
Здравствуй, о, женщина! Та, что полюбит мой сын.
Не причиняй же ему этих звёздных, космических мук!
Только тепло. И горстями, ковшами хрусталь
из световых этих ласточек, этих щемящих лучей.
Обожествляясь, единственной женщиной стань!
Я умоляю во имя всех жарких ночей.
Сердце моё пахнет хлебом, исклёванным вдоль, поперёк.
Сердце твоё, словно булка ванильная – сахар, изюм!
Пусть изо всех, сколько в мире путей и дорог,
пусть, хоть одна, но ко мне, приведёт на порог,
ежели вдруг перемелется в крошки – лукум,
если раскрошится. Верь, что я рваный простор,
крылья его, его генный, пыльцовый набор,
ваши тела я сращу! Телом – тело в упор!
Пласт огневой да с Везувием тем, что превыше всех гор!
Не прокурор – я! Свекровь – это сродная кровь.

Ах, капелюшка, дождинка людского добра!
Я не обижусь: хоть молви, хоть злись, прекословь.
Просто из цивилизаций, как мир, я стара!
Бывших, погибших, утопших, сгоревших – древней,
Майи, Египта, Кароля, где Солнца Врата.
Но о себе я не буду. Хочу я о ней:
солнечной пряже, невестке, кусочке холста.
Если подружимся. Если сплотимся в одно.
Что монолит. Что бетон. Что алмаз. Тёплый кров.
Но я хочу, чтобы стало, срослось всё равно,
чтоб изваяло меня бы – в свекровь!
Вот и пойду нынче я, вот пойду в ближний храм,
скромный платок повязав, спрятав слёзы в прищур,
Всё за Россию просила, за космос, за родину там.
Батюшка!
Нынче о личном, сыновнем, молясь, попрошу!

Все молитвы мои, все, сколько есть, конечно, о детях,
все молитвы мои – бессвязные, слёзные – о моих родных,
говорю, шепчу, у икон молюсь, не болейте,
да минуют вас эти игрища зол мировых!
Да минуют вас эти мании, фобии, стрессы, печали,
разухабистость, кражи, обманы, суды и жульё!
Я хочу, чтоб вы встали, когда безнадёжно упали,
я хочу, чтоб прощали обидевших, взявших ружьё.

Не хочу, чтобы око за око, за зуб чтобы зуб и тем паче
не хочу, чтобы первым удар. Не хочу, не хочу, не хочу!
Поля битв и сражений, майданов, безумств, революций и
стачек.

И поэтому в церкви я ставлю за свечкой свечу!

И вздымается жёлтое пламя! Прозрачное! Тонкое! Роз в
перламутре

так сияет свечение, так размыкаются звёзд хрустали.

Вы побудьте светло и надмирно, наднебно побудьте
в моих мыслях, мечтах, в моих грёзах, родные мои!

Разрываю все цепи, канаты, которые могут отъять вас,
раздираю напасти на части, на крохи, на пыль, на пыльцу.

И всем чёрным дорогам не быть! И не ставить препят-
ствий

вашим светлым дорогам по ровной стезе, по плацу!

Поддержите Христа! До Голгофы, по травам, по мхам, по
каменьям

донести на плечах изумрудный, неистовый и невозмож-
нейший крест!

Проливаюсь я в вас в золотой ваш запас, по нетленьям,
по просторам, пространствам, в ваш мир, в ваш тугой Эве-
рест!

В ваш реестр, распечатки, закладки, Зюйд-весты, Норд-
осты,

в переезд, в переплав, в манифест и отъезд, и приезд!

Я без вас не могу! Я без вас, словно ствол без берёсты!

Я без вас, как без кожи! Тоска моё сердце доест!
Вот чему я учила: князь Невский да песнь Святогора,
про былинный я дух говорила, про старцев из монасты-
рей!

И пускай будет так. В этом мире я только опора,
что из светлых светлей, из надёжных и добрых – добрей!

У меня отобрали родину.

Но не ту малую, а огромную, большую. А малую оставили.
Кроху. Речку, смородину.

Сначала появились Мавродии.

...Я впадаю, впадаю во всё до последнего вздоха. До по-
следнего выдоха.

У меня на сердце ожоги и вывихи.

Переломы. Дороги

мыслей раздавлены, вдавлены. А вокруг появляются то
секты, то танцы, то йоги

притягивают, заманивают. Гвозди – в раны мне.

Персты в небо. Им что: они проплачены

кем-то свыше. Они стаями, пачками,

сладкими речами, увещеваниями.

А мы – русские доверчивые, уши развесили.

Слушаем. Верим. Продаём квартиры. Несём деньги.

Овце-бараньи у нас замашки. Порваны обереги.

Ой, пожимает плечами правительство. Трали-вали.

А мы и не знали.

Истово

и по-старушьи божится. Сами, мол, виноваты
поверили Кашпировскому. Голова из ваты.

Из опилок. Из душистого, соснового,
хвойного. И всё по-новому.

А где же родина? Где же флаги красные?

Все мы целиком, с землёй, континентом,
детишками проданы! С сердцами атласными.

Шёлковыми. Ситцевыми. Штапельными.

Родина! Я по тебе скучаю, умираю!

Твои сосульки, как свечи на паперти

огоньками вниз мне светят. Тянутся клювиками, слюнки
капают.

Разрывается грудь... ну, как же мы так, прошляпили?

Я помню своё стихотворение детское.

Где я предвещала: «И разделят на части!»

Так и случилось: дым над Одессою.

Вороньё. Смерть. А Запад нам: Здравствье!

Сами хотели. Окно в Европу

ещё тогда при Петре Первом.

Так зачем теперь крик. Шёпот. Ропот.

Не треплите нервы.

Вот опять новое: цена на бензин зашкаливает. Пенсион-
ная катит реформа.

А я сию у порога: родина моя! Дорогая. Небывалая! На

уровне шторма.

Кровное моё. Родное. Русское-русское поле.

вот скоро доберётся и сюда воронье!

Раной больше, раной меньше, посолит солью.

И сверху добавит перца.

А когда разорвёт сердце (инфаркт, инсульт, рак, спид, гепатит),

у меня родины – дефицит!

Чем, чем я тогда утешусь? Как я лицо оботру рукавом в слезах?

Как рухну грешно?

На колени? Сумасшедшая. Дурочка. На стихах помешана.

Иди-ка ты в прогулку пешую,

возьми дудочку. Выскреби из себя звуки.

А я тяну к Богу руки!

Заново создай землю, небо, твердь,

умоляю тебя, Родненький,

маму, отца, СССР –

мою бывшую родину!

Захару Прилепину

Я Захара люблю, как друзей все мы любим,

его крепкую шею, как ствол крепколистый

одинокого, жарко-песчаного дуба,

обвивала бы (другу всё можно! Всё – близко!).

Сочиняла бы письма. Побуквенно в каждом
излучались звучанья бы высшего смысла,
умирала бы в них я светло и отважно,
в восклицательных знаках, как друг, бескорыстно!
Подставляла плечо бы. (О, женские плечи,
эти хрупкие косточки, связки, ключицы!)
Есть фундамент, который не перекалечишь.
Есть основа, которая в темень искрится.
Да святится пусть имя твоё! Ты мне пишешь:
«Свет. Приветы тебе!» Мама, две твоих дочки
и Мария-жена, сыновья! О, мальчишки!
О, вихрастые чёлки! Планшеты и книжки!
О, парные затылки. Вспотевшие спинки.
Целовать их – младенчиков – в попки, подмышки.
Вот об этом в письме, где слова, как кувшинки,
как рябины, как ёлки, снежинки, щетинки
излагала бы. Пальцы бы ладаном пахли,
золотою лавандой, черёмухой, мёдом.
Довелось же нам, русским, заштоповывать крахи.
Довелось же нам, русским, чтоб пули, как маки
дозревали в подкошенных нас небосводом.
А мы – русские – словно бы громоотводы
всей земли от несчастий! От горя, разрухи.
А во мне плачут все Ярославны! В старухе,
в молодухе, певунье! И мне все открыты
эти женские плачи, что собраны в сердце.

А мы, русские, словно бы все страстотерпцы.
Пережили мы время – трагедий, коммерций,
пережили мы время лихих девяностых
и десятых лихих. И уже нам не деться
ибо в каждом есть Пушкин, Толстой, Чехов, Герцен,
ибо в каждом Прилепин Захар ритмом бьётся!
Я тону в его книгах, как будто в колодцах.
В «Патологии», в «Саньке», а про Луговского
я читала пять раз. И читать буду снова.
Прижимать к телу красной строкою построчно.
Допивать, как вино, его книги я буду.
Как вино виноградное белое ночью,
как вино аргентинское, что желтогрудо.
Алкоголь я не пью. Но пьяна его речью.
Его правдой прилепинской, всечеловечьей.
Его профиль, гляди, Иоаннопредтечев.
Для него в церкви сорок небесных я свечек
зажигаю, молясь. И грызу своё небо.
И ещё, я признаюсь, о, да, что поэты
быть хотят, как Прилепин! Но всем невозможно.
Ибо им не открылось! Так млечно. Таёжно.
А такие, как он, прямо в космос, в рассветы –
воздеты!

Пахну розовым яблочным праздником Спаса.

Мне сегодня родить. А рожать все боятся.
Век двадцатый. День – вторник. Смысл солнечно лёгок.
В девяносто шестом на дорогах нет пробок.

Но меня догоняет Чернобыль с Афганом,
разбомблённая Ливия за океаном.
Аномалии душат звериною хваткой,
разрывают меня коноплёвой взрывчаткой.
– Доктор, доктор, скажите! Живот мой огромный,
он для сына приют, колыбелька и дом он.
А ещё вспоминаю я тюркское племя.
Роженице всё можно. Когда не в себе я.
Когда, в околоплодных барахтаясь водах,
сын готов народиться.
Афган и Чернобыль
мне в затылок дыханье струят грозовое.
Душно. Душно мне, мамочки! Я волчьи вою.

Говорят то, что тюрков в волках зачинали.
Я кричала, вопила про смесь аномалий
и про эту, про генную связь мифологий.
Доктор и акушерка держали мне ноги.

И родился родимый! Мой тёплый комочек.
Оказался с врождённым недугом сыночек.
А затем, как подрос он, о, солнце-светило,

от врача ко врачу я с сыночком ходила.
Говорили: не плачьте. (Я с сыном в дежурке...)
Про Афган, про Чернобыль, бросая окурки.
Помню, как я бежала в аптеку под утро,
чтоб лекарство купить, ног не чуя, как будто.

Мои тонкие ножки, почти что синичьи
исходили полмира, ища, кто обидчик?
Иль Чернобыльский Гоголь? Иль тюрка волচারы?
Мой сыночек, клялась я, мы вытравим чары.
Мы в купели покрестимся Новгородской.
Мы в пыльце искупаемся в ночь на Слободской.
На Ямщицкой ромахе мы да на анисах
возрастимся! Плевать мне на сок кок-сагыза!
Да в Уралах моих зацветут черемисы,
да в Якутиях снежных забредят маисы.

Ах ты, турок-сельджук, гагауз ты волчиный,
как ворвался ты в гены мои, неотмирный?
Половецкое чудище! Выморок жабий!
Я целую сыночка, я вою по бабьи.
Прижимаю. Ласкаю. Я голову глажу,
его тельце обвив по-синичьи, лебяжьи.
Ничего, ничего, всё поправим, любимый,
а глаза мои ест соль горячего дыма.
Иногда на луну выть мне хочется... Я же

в Спас молюсь. В Спас крещусь. Становлюсь всё отваж-
ней.

Не хочу я искать ни вины, ни обиды.

У других ещё хуже, сложней – плазмоциды,
у других ещё хуже – рак, немоть и спиды.

– Доктор, доктор, скажите... Стучусь, как синица.

Становлюсь словно ток, что по венам искрится,
двести двадцать во мне, что помножено болью.

А я мать – прирастаю своею любовью.

Если жизнь я смогла перелить свою в сына,
значит, больше смогу. Ибо связь – пуповинна!

И кометой взовьюсь в Галилеевой пасти!

Стану пеплом у сердца, как в песне, Клаасней.

Сорок неб изгрызу. И созвездий полярных.

Помоги ему, Господи небесноманный!

Из невзгод всех достань сына да
из напастей...

Родина! Дай мне радость за тебя умереть,
как Мозговой, как Захарченко, Космодемьянская Зоя,
маленьким семечком, зёрнышком лечь в тебя на заре
в сцепление трав, корешков, глин – в правильное такое.
Родина! Твой перламутровый вещий язык
сладкою, терпкою ложкой варенья

спелых смородин, брусник и клубник
в ядрышках, в сочных изюмных сплетеньях
ты выколдовываешь на устах.

Если уста свои в трубочку, если
в песню, в улыбку, в прищёпот, в цвета
полупрозрачные сложу я вместе,
то всё равно будет сладость твоя.

Кто поцелует меня – усластится
речью! Я льстила бы в тон соловья.

Родина! Я – соловьяха твоя:

соло я ткущая. Я – поляница!

Я же не только коня на скаку.

Я же не только в горящую избу!

Сваха, наузница и перуница,
плакальщица, медсестра и частица
княжьих щитов супротив, чтоб врагу,
нападающему на отчизну!

(Простите, за эти из учебника взятые, люди, фразеологиз-
мы),

родина, ошибающаяся, кающаяся. Златокожая!

И всё равно ты всего превыше.

Ты – моя Божья!

А вот за это мне, худосочной,
всего-то 66 кг!

Уж, какой родилась! Белокурой, загорелой, правильной
дочке

в рубашке телесной, в кружавчиках, ночью
в Уральской дремучей кедровой тайге,
возросшей на шаньгах да на твороге,
на сказах, на птичьем пуху, на яге,
о, как я люблю тебя родина очень!
Короче. Все стихи мои о тебе,
хочешь выброси. Хочешь
разбей.

Родина! Любимая, солнечная. За тебя в борьбе,
за твою чистоту. Твой язык, за твои добрые, материнские
очи!

Ошибаются, плачут, злорадствуют,
все-то грамотки – в бересту...
Из породы "открытая настежь" – я,
и любовью я к людям – расту!
Из породы я – верящих. Двери я
отворяющих, я – без лукавств.
Километры любви, что империи,
из космической, пряной материи,
вот такую: Иуда предаст.
И он предал уже. Рассеребрены
были фразы и песен слова.
Вот лежу я, укутана пледами
в клетку, бабкиными и дедовыми,

но – жива!

Прижимаю устами всё небо я,
чтоб понять свою степень родства.

Будет...будет... под плещущей ложью –
ложь откликнется. Землю ешь,
все дороги свои, бездорожье,
жижу, глину, проталинок плешь.

Всё равно я, подруженька, ахаю,
что в Ивашку я – дурачьё.

Твои плечи отныне мне – плахою,
что ж я голову-то на плечо?

Это хуже китайской муки,
ты кричала – держите её,
но к тебе я тянула руки!

Ты – ружьё!

Пой, не жалко, хоть сломанным горлом,
хоть простуженной дудочкой, хоть
перетёртой, исписанной, мёртвой
этой музой, что загнана в плоть.

Прокусить – зубы сломаны. Рот –
истёрт.

Я – дурёха. Я наоборот
зажигаю во здравье свечу,
во прощенье. Смиренье. Парчу
золотую из жёлтых огней,
всех смородинных рек зов кричу,

всех калиновых град коренней,
всех Хароновых лодок сильней,
всеобильней прощение ей –
заблудившейся в темень и падь.
Ох, спасти бы...ох, не опоздать!

ЗЕМЛЯ

1.

Твоя земля? Так ешь её,
клянись, запихивая в горло.
Земля – еда, земля – питьё,
земля дождями перевьёт
и любит так, как любят зёрна!
Моя земля перед тобой,
она живая – чёрной солью,
иерихоновой трубой,
моей невыносимой болью.
Её ты хочешь истоптать,
раззолотить? Развеять сором?
Мне всё равно. К её стопам
себя кладу. Как под топор я!
Моей земли не счесть! Она
растёт шагренево! Умножась,
рождается сама во снах,
в чертополохах, птичьих кожах,
в пуху, в бреду, в туманах...О,

в моих Уралах и Сибириях,
её я трогаю письмо
послёзно, буквенно, псалтирно,
евангелево! В ней завет
всех предков. И до всех – всех предков,
и динозавровый след,
и доязыческий просвет.
Столь редкий,
что я сама ему дивлюсь.
Мне звёзды он кровит во спину
и соль, когда коснётся уст
её полынная на вкус:
приговорённой я ложусь
на гильотину!
Земля моя – земля земель!
Всекрылая! Её устами
я исцеловываю днями-
ночами, словно колыбель
с младенцем! Телом всем, сосцами
оглаживаю. Неба зевом!
После горячей ночи чревом.
Всё для тебя, земля моя!
Пусть греются моей землёй!
Куски пусть рвут. Несут домой.
Терзают. Режут. Жгут. Едят.
Ешь землю тоже! Это сад,

цветущий сад. Сосцы звенят,
что колокольчики! Земля
не убывает, хватит всем,
кормились ею Ромул, Рем,
и еженощно из груди
её растут, её встают
то Китеж-град, то Божий суд.
Земля моя – всеблагий труд!
Всхожу – земля зовёт: «Всходи!»
Я с ней! Один с ней на один
до смерти! Жизни! До седин!

2.

Земля моя, я помню твой карьер
из рыжей глины, жёлто-маслянистый.
Мы – дети. Мальчик, как Безухов Пьер,
я и подруга, в парке – пионер,
скамья, деревья, новенький транзистор.
А мы поспорили – хоть горло перережь –
в карьер спуститься, в топкое болото,
где жабы, рыбы, междувремя брешь,
карьер манил птенцово, желторото.
Где рыжей глины ржавые куски,
остатки десяти цивилизаций.
А я – хранитель двух из них: Собских,
Берёзовских, они крепки, что панцирь!
Хотелось мне, чтобы слепые пальцы

мои прозрели! Там, в глуби, в карьере
на ощупь, чтоб они нашли, воспели
остатки прежних птиц ли, книг, зверей ли
и первородной глины песни-трели
то, из чего Бог делает людей!

... Частицами плыла, качаясь, взвесь
песка, лучей искристых, чернобыла,
подруга прокричала: «Петя, лезь!
Не медли!» Вслед за ним и я ступила...
Земля моя разверстая! Ты вся,
что кровь, что слёзы Ярославн, остатки
ожившей глины (так вот в нас «тусят»
цивилизации, эпохи – в мыслях, в складках
упругих мышц!). А мы – всего лишь мост
к другим, разверстым и распятым людям!
Я помню, что запела! Алконост
так пела, может, яростно, подгрудно!
И я была рудой твоей, земля!
И я была божественною глиной!
В тебе была. И кровь текла твоя
в моей крови багрово, исполинно!
Ты в горло мне вцепилась, нос мой, рот
тобой был полон. И ветвились корни
твоих деревьев, где чрево, где живот,
где грудь моя и где мой отсвет горний!
Во мне земля, на мне и подо мной!

В карьере рыжем я всю тонула,
и я была с землёю своей – землёй.
Ну, режь мне горло! И в висок мне – дуло!
А где-то там, где высь, был ужин, лад,
не вылось волком, не оралось кошкой,
ни санитаров из шестых палат,
не бился пионер там, в парке крошкой,
не ведала бы суицида я,
ни этой аномалии бетонной.

... Не помню, как мы выбрались. Лишь помню
в ботинках грязь. И книгу Бытия,
которую вдохнула словно я,
втянула словно целый многотомник.
Земля моя! Еда, питьё, любовь,
могу делиться я тобой. А ты – всё больше,
объёмнее, пласты, карьеры, толщи.
Ты – кров, покров, ты – явь моя и новь!
Христовая ржавь моя и топь
я никогда тебя и ни за что не брошу!

3.

... И вот тогда мои прозрели пальцы!
Я так хотела выбраться из снов.
Как я смогла так крепко вмуроваться
в века иные, в камни городов?

В их всхлипы? Пеплы? Карфагены, Трои?

В до христианстве песнь пою Эллад!
Ищу себя везде: где травяное,
древесное моё, моё речное?
Земля земель? Начало. Фразы Ноя
я перечитываю: как они звучат.

Как не шадят, как попадают в прорезь
высоких гор, впадая в Арарат.
Всё, что моё: предметы, вещи, пояс.
Прозрели руки! Зрячим стал мой голос.
Земля моя созрела, дом, мой сад.

Раздвину камни. Из груди – все плачи
я вырву с корнем. С горлом – все слова.
А это значит: руки, сердце – зрячи.
Что я жива!

4.

Моя кровная! Шесть соток! Здесь в сердце, в душе
земля распластанная! С запахом трав луговых и сандала,
целую тебя! По песчинке, по зёрнышку, ягоде-кругляше,
как никогда ещё не целовала!

По твоим дорогам – проталины, словно глиняные позвон-

ки,

по твоим горам, словно по головам великанов.

Никогда я ничьей не касалась так жарко руки
разве только твоей, что в веснушках, прожилках духмя-

ных!

И восстану тобою, земля! Воспою тебя словом, что впаяно
в песнь.

Я же раньше не знала, как это тебя целовать в соль зем-
ную.

Если трудно нести, помогу! На Голгофу тяжёлый твой
крест,

если хочешь, себя в твоё тело однажды вмурую!

Так мужчине любимому я отдалась бы – нутром,
всем распластанным телом, его обвивая, целуя.

А земля для меня – это даль, это рельсы, метро,
времена, города, золотые дожди, ветродуи.

Там, в груди у меня еженощно вскипает земля!

Топь моя! Боль моя! Крепь моя! Гвоздяная рябина!

Не бывает начал ни с листа, что белеет, с нуля,
а бывает оно – захребетное, кровное! Вынуть
не получится! Прадедов, бабушку, маму, отца.

Россь. И Русь. Аввакума, раскольников воспламенённых,
этот русский характер, привычки, черты все лица,
мешковины, былины, вершины, всех пеших и конных.

Белых, красных, убитых, распятых, сгоревших в кострах,
истреблённых, погибших, обманутых, преданных, битых.

Если землю целую свою, её тленье и прах
и следы Богородицы здесь, на песке и на плитах.

Где натружены стопы. О, тонкие пальцы её!

Она гладила ими вот эту прохладную почву!

Потому вся земля – песне быть! – вся насквозь, вся поёт!
Я целую, целую, и – млечно мне, праведно, прочно.
И ни жизни, ни смерти, ни вечности я не боюсь.
Ни распадов! Ни острых осколков, что – врежутся в кожу.
Но пока я целую, взяв в горсть эту землю, чей вкус
невозможно прекрасен. Любовью любовь, словно множу!

Никогда моё имя ни вслух и ни всуе,
даже возле, где имени свет – никогда!
И под именем! Там, где заря прорисует
эти жёлтые ниточки, жгутики льда.
Даже в водах его тёплых, околлоплодных,
где рождается слово, как будто дитя!
Никогда моё имя! В нём годы и годы,
в нём века! Даже камень в него! Коль хрустят
позвонки его! Сердце дождями стекает.
Вымуровывает моё имя меня
из-под пеплов, завалов, Гомера, из камер
в магазинах, на улицах. Не было дня,
чтоб без этих завистниц прожить мне. Ну, хватит.
Моим именем ангел три неба подпёр!
Хватит дёгтем ворота вымарывать, платье
обсуждать, за седьмую пусть буду печатью.
Я – не Бруно Джордано, чтоб так вот – в костёр!
Чтобы пламя своим языком моё тело

облизало, объело: живот, ноги, грудь!
Я – не город Калязин: топить меня в белом,
невозможном младенческом мареве спелом,
так котят топят, чтоб никогда не вздохнуть!
Так контрольным – в затылок! Так родину рушат,
на осколки пускают. Пытаются так
меня – вечную – расчеловечить! Мне душу
обесчестить! И кинуть во темень, во мрак.
Иль в овраг! Я не враг вам, кричу, но что толку?
Рот заклеен у вас, имя рвущих моё,
разрядивших в него под завязку двустволку,
облетающих поле, леса, вороньё.
Вот такое сейчас у меня Житиё!
Вот такое сейчас направление ветра.
На частицы раздробленное, но поёт
и всё чует, оглохшее, у парапета,
если я слепотой перезрячее света.
Если я сквозь все стены, все дальности слышу!
Колокольной во мне, хоть разбита вся глотка!
И поэтому тише, как травы, как мыши.
Ибо здесь бесполезна прямая наводка!

Ты сжигаешь мосты, ты взрываешь мосты,
доски плавают хрупкие, жухнут листы,
дыма чёрного в воздухе корчится хвост.

Я – на том берегу! Мне так нужен твой мост!
Тварь дрожащая – я. Каждой твари по паре,
я тяну к тебе руки в бесстрашье, в угаре,
пламень лижет мне пальцы огромным горячим
языком. Тебя вижу я зреньем незрячим!
О, котёнок мой, слоник мой, деточка, зайчик.
Каждой твари по паре! Откликнись... Я плачу...
Плеск огня. Руки – в кровь. Я зову. Ты не слышишь!
Голос тонок мой. Тонет он в травах камышых.
А народ напирает. Старик тычет в спину
мне сухим кулаком, тащит удочки, спиннер,
и тулупчик овчинный его пахнет потом,
и картузик блошинный его терракотов,
а у бабушки той, что вцепилась мне в руку,
что истошно орёт, разрывает мне куртку,
вопрошая: «Украла! Упёрла! Спасите!»,
и солдатик щекой прислонился небритой.
Ах, народ мой! Любимый! Не надо... не надо!
Я оболгана, но погибаю – взаправду!
И взмывается тело над пропастью, бездной,
словно мост, что сожжён, что расплавлен железный.
И хрустит позвоночник. И плавятся кости.
Пляшут ноги по телу. Впиваются трости.
Гвоздяные колючки. Копыта кобыльи.
О, как больно! Меня на вино вы пустили.
Проливаюсь я, льюсь виноградной ванилью,

кошенилью да шёлком, Чернобыля былью.
Две земли предо мною. Два неба. Две части.
Их свяжy в одно. Каждой твари – по счастью!
Каждой твари по слёзке, по пенью, молитве.
Моя песня нужна, я за песню убита.
Я за песню разъята. Разбита. Разлита.
Моя жизнь пролегла по-над раной открытой,
по-над пропастью между любовью и битвой,
по-над пропастью между мещанством и высью,
сребролюбием, щедростью и не корыстью.
Терриконом, Элладой, наветом, заветом.
Темноту освещаю собою, как светом!

Полка книжная в складках таилась буфета
наряду со всем прочим, с дешёвой стекляшкой.
Было невероятное, терпкое лето,
были в вазочке из-под зефира конфеты.
А буфет возвышался вальяжно, что башня.
Он, как будто бы врос в нашу комнату, в нашу
немудрёную жизнь. Он был – фарс. Он был – кредо.
Он – фасонщик. Стиляга. Большой, черепаший
в его ящиках, словно в кладовых кармашках
было всё! Наши, ахи, паденья, победы.
Дайте Фета! На полке есть томик потёртый,
у буфета – так много звучания Фета!

Колокольчик гремучий, как будто в аорте
тихо плещется кровь травянистого цвета.
Сундучок мой! Симаргл мой! Бова Королевич!
Лакированной кожей обтянут как будто.
Не его ли картинно представил Малевич –
этот спорный Малевич – квадрат перламутров!
«Я пришёл рассказать», о действительно – солнце!
О, действительно мода на шляпы из фетра,
о, действительно то, что навек остаётся,
то, что не продаётся за тридцать червонцев!
Мода на человечность! На то, что не бьётся!
Мода шестидесятых на книги, на Фета.
Евтушенко, Высоцкого, Галича мода.
Мы читали. Мы были пронзительно чисты.
В нас навеки запаяны вещи коды.
Замурованы в нас школьных зорек горнисты.
Веру мы перельём, как в буфете в посуду,
что сияла гранёно, размашисто, пёстро:
из того, из бывшего была я и буду.
Хоть распалась страна на осколки, а острый
пригвоздился мне в сердце. И не оторваться!
К смыслам чистым! Живу я от Фета до Фета!
Гвозди в венах, как строчки. В сибирско-уральской
в этой полуязыческой власти буфета!
Я – бу-фетчица, фетчица. Тоже "с приветом"
к вам пришла "рассказать то, что солнышко", то что

я храню в отголосках
зарубки, заметы,
книги, скарб, узелки, письма, марки, что с почты,
где бы я ни была в этом мире, не в этом,
мне буфет светит ярче, чем в небе кометы!
Мне мучительно к этому соприкасаться,
но мучительнее это всё мне не трогать,
я пытаюсь сдержать эту близость дистанций,
я всей зоркостью слепнуть пытаюсь, но пальцы
помнят дверцы и ящички этих субстанций!
Скрипы, шорохи, звоны и трели буфета.
...Оттого наизусть помню я стихи Фета

Нынче день такой, я очищаюсь, как перед причастьем,
столько света во мне – не накрыть его даже рукой
и лучи! И пыльца, словно липнет к ладоням, запястьям.
Это – сладость вокруг! Как в кофейне, что на Слободской.
Как могла я? Как смела тому, кто вонзал в меня камни,
воспрепятствовать? Как я могла не любить тех людей,
тех, враждующих против меня? Я готова к стопам их
припадать, отирать, омыwać эту грязь со ступней!
Я была обезжизненной словно! Как будто жемчужин
в моих жгучих предсердиях не стало, за створками их!
Я жалела себя – измождённую, клятую. Мужем
словно брошенную да с дитём на руках – испитых,

словно в старой кофтёнке, на кресле сидела пустынным...

У людей есть особое право не внять, не принять, невзлюбить!

Да хоть выю ты им на плечо, а плечо – гильотина.

Да хоть тело ты им, а у них плахи, дыбы, гробы!

Если любят тебя, так легко их любить – они люди, если слов у них много – елейных, кисейных, льняных, ты люби, кто тебя проклянёт, кто убьёт, кто погубит, кто ограды поставит, кто плюнет вослед.

Так важны,

так бесценны слова их обидные, словно бы стёкла, как булыжники прямо в затылок! Вот нынче и я оцепила от сердца, как будто от платья, что взмокло, эту кучу песка отряхнула и кучу репья!

Обесточенной больше не быть, ток за двести, за триста невозможных ампер, в свете радуг и в свете всех лун!

И аккорды во мне Франца Шуберта, Ференца Листа и костры, что Джордано спалили из порванных струн.

И комета Галлея пылает во мне, оттого жухнут листья, я – сжигатель истлевших эпох, и Калиновый мост догорает во мне, чужестранствия, образы, мысы.

Даже в Божьей ладони распался проржавленный гвоздь.

Нам, пережившим лихость девяностых, теперь уже не страшно ничего!

Всех пирамид финансовых коросты,
всех бед, всех Лонго, магов, Кашпировских
несметное число,
в тех пирамидах не сыскать хранилищ,
нет мумий там Египетских святилищ.
А золото-то где? Тогда купились
мы все! Народ – полуголодный, бедный, злой,
вдруг нате дерзкий вам журнал «Плейбой»,
а мы одеты все в едином стиле:
фуфайка, стёжка, варежки, платок,
а нам – стрип-бары, девок и джаз-рок,
игру в рулетку и удар в висок,
и статуи братков, что на погостах.
Нам, пережившим лихость девяностых,
ужели это не урок? Не впрок?
Чем жил народ тогда в плену бескормиц?
Упорный мой народ он жил, не горбясь,
кто в лес, кто по дрова, кто по грибы,
кто челноком до Турции в Россию.
А я никак всё не могу забыть
глаза старух там, в церкви. Их простые,
их тоненькие в плаче голоса,
ползком – да ко кресту, плашмя – к иконам,
всем телом припадая, всем поклоном,
я плакала, взирая! «Так нельзя
мне биться в сердце!» – Бог кричал, наверно!

И Богу больно было, тяжело, скверно.
Там, в девяностые смололись небеса
в кровавый фарш! Смешались звёзды, луны,
смысл смыслов, все созвездья, руны, гунны,
все фараоны, бой часов и Кремль,
флажок, горнист, Мавроди, «МММ».
Но всё равно мы на земле сажали
морковь, картошку, самогон варили
и дачи строили на досках, на скрижaliaх,
по сухостою, по грязи, по пыли
мы задыхались! Гневались! Но жили!
И не такое мы переживём,
налог, подлог, всех Каинов на троне,
реформу пенсионную в законе.
Люблю тебя, боготворю, народ,
всегда. Везде. Повсюду. И во всём!
Кто не сбежал во Францию, в Майями.
Не предал клятв своих. Своих щедрот
при невысоком уровне, при МРОТ
и Крым не сдал чужой Тмутаракани!
Сажай морковь-картоху каждый год!
Цеди свой самогон. Вари варенье.
Назло Европам. Бог ни над, ни под,
Он – в нас! Мы, как атланты держим свод!
И космос бережём мы от паденья!

У меня в груди плещется болью небес,
у меня, у прошедшей почти столетия,
повидавшей исход, коммуналки, собес.
Мама, папа – любимые! Что мне ответить?
То, что оси полопались вдруг. Навсегда.
Словно бы под завалами рухнувшей родины,
я истошно кричу. Под ногами вода.
Под ногами звезда – её отсвет смородинный.
Словно бы я зову. Но не слышит никто,
неужели опять все оглохли Бетховены?
Во все глотки зову. В миллион детских ртов:
мама, папа! Любимые! Мы похоронены...
Девяностые годы давно позади,
как и годы прошедшие, шестидесятые
и Конец Света вывалился из груди
вместе с детскими клятвами.
Выползаем мы из-под завалов. Меня
пригвоздило осколком былого навеки
к высшим смыслам! Целуя, терзая, казня,
вот такое со мной – в полымя из огня,
я, как дерево, чьи кровоточат побеги.
Мама, папа. Любимые! Как вас обнять
мне хотелось бы нынче, но руки остались
мои в крыльях былого, а корни – в корнях,
я других не содеяла капищ, ристалищ!

Я иного себе не смогла сотворить
кроме этих осколков, мне ранящих остро
всё нутро моё: вечность, язык, словари
и волхвов к Иисусу святые дары.

О, как я бы хотела побольше геройства!
Ибо я же клялась, как и все мы клялись,
видеть высь! Помнить высь!

Я молю: помолись,
чтобы мир этот Каинов канул в пустыню,
чтобы он возопил: «Я не сторож!» И минул.
Не во имя меня, моих деток во имя,
то есть внуков родителей Божьих моих.

Ныне, присно и днесь буду петь песни давьи
да про остров-Буян! Буду родину славить
до разрыва аорты, до спазм горловых.

И не сломишь меня! Я вцепилась в осколки.

Я мостом пролегла, ибо крепкая, с Волги!

Удержат, чтоб осталось тот мир, что разверст,
мама, папа! Любимые!

Землю.

И крест.

Всем выгнутым телом прижаться к скале,
к её каменистому зеву, к шершавым
натруженным пальцам, сливаться во мгле

с гранитом её, с разнотравьем, с металлом.

Во мне Прометей словно канул на дно.
Я – людям огонь раздарила всеядный,
его поглощающее полотно,
где кроме него, ничего и не надо!

Земля предо мною! За мною! Со мной!
И в сердце земля! Как она обнимает.
Целует. Льняная моя, гвоздяная,
песчаная, глинистая и родная.
И я к ней прикована этой скалой –
которая вжалась в меня и вцепилась,
как будто в дитя с материнскою силой,
как будто в любимую женщину – милый,
была я – рисунком на скальном живым,
была Прометеевым жаром благим,
была Прометеевой печенью, сердцем,
которое рвали орлы-громовержцы,
да что мне все птицы – вороны, орлицы,
кукушки, сороки-воровки, синицы:
они, словно карлики в мантиях тесных
мечтают мой выклевать контур разверстый.

Я, как Прометей... Вот лежу я в больнице:
во мне перелом скреплен тонкою спицей.

Мне жарко. Натужно! Недужно! Кромешно!
О, хоть бы глоточек воды, горсть черешен,
щепотку китайского чая с жасмином,
ещё эсэмэску о друге любимом!

Лишь только усну – мне скала в море снится,
века мои, земли – исклёваны птицей
и что надломились в костях моих спицы.
Но я всех прощаю! Старух этих, бабок
о, как бы не мой Прометей во мне! Как бы
не эта история. И не больница
ужели смогла бы я так поделиться
всей кровью моей, всем огнём, всем причастьем,
бинтами в крови, кучей порванных тряпок,
смогла ль над морскою нависнуть я пастью
над этой акульей, дельфиньей и крабьей?

И столько огня раздарить: сотни, тонны
по максимуму: ничего или всё им!

ВОРОТА МОЕЙ ФИВАИДЫ. ВСТУПЛЕНИЕ.

1.

Это, как ворота в Ковчег, в Шамбалу, в иную цивилиза-
цию,

врата Кипы и знания Компрадоров, ворота Венеции!
Как ворота Гигантов и Матиши. О, прогуляться бы!

Там дышать мне привольней: так ягоды пахнут и специи.
Там иное течение жизни, пространства и времени!
Люди с автозавода – они коллективней, открытее!
Ибо были истоки. Здесь Кочин свои сновидения
воплотил в два романа, как в два «Жития», в два события.
Люди с автозавода намного дружнее. В бригады мы,
в мастерские, в лито сочетались, сбирались мы в целое.
Здесь и небо иное – прозрачней! И звёзды, и радуги!
Потому по характеру я – боевая и смелая!
И ворона я – белая. Даже сорока я – белая.
да хоть тот воробей, всё равно цветом, снежным да сол-
нечным!

Вот опять я к лихим девяностым (застыла в них, впелась
я!),
даже эти года пережить было легче! В осколочных
до сих пор вся раненьях душа. Как нас хрястнуло!
Как завод развалили. Как «Волгою-Сайбер» потешились.
Как за водкой ломились, отделы сметая колбасные,
в магазинах на Северном, и посылали всех к лешему.
Ты моя Фиваида – врата твои Автозаводские!
Проходная и пропуск. Храню я его, как реликвию.
У нас не было так, как Канавинские, как Московские,
где доступные барышни, где покупные, безликие.
Где базарно. Зазывно, Раствленно. И всё не по-нашему.
Где не стыдно и пол поменять: хочешь в девку, во брата
ли.

Мы иные совсем: иногда вот столкнёшься с Наташею,
а она – это Петя!

У нас нет такого отвратного!

И – по-матному...

Я-то помню, какими усильями, потом, зарплатою
добывалось моё! Моё кровное, лучшее, правое!

Шубку кроличью помню свою и картузик ондатровый .

И опять прихожу я сюда – связь здесь чую с державою!

Возле парка стою, словно вижу Москву златоглавую,
на проспект Октября я иду, словно с Питером венчана.

А на Южном шоссе, где троллейбус – тот детский! Купа-

вою

на ветвях-проводах расцветает судьбою извечною!

2.

В Соцгороде я родила тебя, сын мой!

Ворота больницы открылись – в цвет синий
покрашены краской. Роддом. Плачут дети,
моей Фиваиды вливаясь в бессмертье.

Здесь мягкое солнце на ощупь, что булка,
вот-вот провалюсь я в него жарко, гулко.

Стекляшкою бьётся на плачи предсердьё.

– Дыши! – мне кричит медсестра милосердия.

Хватаю за руку её или плачу?

Мой сын – это больше, чем дитяtko, мальчик,
моя Фиваида его охраняет:

голубка, заступница, нянюшка-няня.

Я сына качаю. Я сына целую.
мы пахнем анисом, заморскою туей,
овсяною кашкою, морсом и вишней.
Но грудь сын не брал, грудь была моя лишней,
и я молоко – млеко я человечье
цедила в бутылочку. Утро ли, вечер...
Ещё у детей вот с такой патологией
рефлекса есть пищу – нет, и на подмоге я.
Но здесь, в Фиваиде, иная дорога:
мы с сыном гуляли, Ока где и Волга,
кормили мы булкою сладкою чаек
клювастых, горластых, лихих попрошаек.
Моя Фиваида мала, что песчинка,
в кулачном бою зла с добром поединка,
ужель Золотой нас Телец объегорит,
плохой экологии тяжкое горе?
Ужель в нашу спальню вражина прорвётся,
где тёплое небо, где мягкое солнце?
Ужель нас рассорит плутоний и стронций?
Но сыну читала я про краснодонцев
полезные книги и пела я песни:
кровиночка, зайнышка, самый чудесный!
Моя Фиваида – хранит от худого
и – в ноги, в колени, к иконам я снова!
В душе моя боль – в её пряной утробе,
о, я оседаю от крика в сугробе...

А после спасала, бежала, рыдала.
Спасла! Я хватала, мальчика в одеяло
закутав, на «Скорой» мы мчались в больницу.
Ворота откройтесь! Пора расступиться
вот этим вот сводчатым, каменным стенам:
волхвы собирают дары сокровенно,
Пилат натянул свою шапку-ушанку,
и Каин взял камень – и мне метит в ранку,
и взяты уже на «Титаник» билеты...
Ужели мной мало прочитано-спето?
О, сколько бы я не учила, всё мало,
о, сколько бы ни говорила, взывала,
молила, просила, в подушку рыдала,
всё мало, всё мало, всё, Господи, мало!
Чтоб сына сберечь помолиться я выйду.
Где мягкое солнце, тянусь в Фиваиду,
в туннели её, золотые сосуды:
Здесь сын мой возрос! – повторяю я люду.

3.

Из шинели Гоголя, из его Миргорода –
да на свет этот солнечный, этот хрустальный,
а вот я – из Соцгорода, тканого мигами,
обережного небом и Архистратигами.
Мой Соцгород, как будто калачик пасхальный!
Исходила, исцокала туфли я модные
на болотах его. Это, как город в городе!

Это родина в родине! Красной смородою
на окраине цвёл горизонт. Из породы я
трудоной. До сих пор пальцы крыты мозолями!
Но какие мы песни пропели всевечные,
но какие мы, словно равнины, раздольные.
Не расчеловечить нас. Мы – человеческие!
Ах, как в юности, помню, то шумом, то гиканьем
наполнялись заулки, скворечным чириканьем,
разнотравием, бликами, ангелов ликами!
Мой Соцгород – один! Как в Элладе туниками
мы китайскими пуховиками затарились
в девяностые годы! О, как поелику нам,
мы ходили, кто в розовом, в ало-гвоздиковом,
и из окон нам Раймондом грезилось Паулсом!
Да, вот так мы и жили. Нам год, что столетие,
у моей Фиваиды своё исчисление.
Я хотела бы нынче покаяться: Летою
мне Ока твоя матушка. И тем не менее
мои детские ели у Парка культуры,
мои взрослые клёны, что на Комсомольской.
Эти крыши домов – эти снежные шкуры,
эти белые ливни – их сколько, их сколько,
сколько их наловила я – нежных – горстями!
Мой Соцгород, поклон! И поклон моей маме!
Здесь волхвы ко сынку приходили с дарами!
Эти улицы были святыми путями,

я Соцгородом, словно Царьграда щитами
здесь укрыта! В надёжном я месте, я – с вами!

А для Бога равны мы, мы все одинаковы,
а для Бога любимы мы, бережны, радостны,
ибо он создал нас элексирно, экстрактивно,
мармеладно-железно, без лжи, без редактора.
Мы для Бога равны тридцати шести градусны.
Мы для Бога равны во страданиях, в поисках,
в крови, боли и счастье, в блуждании, прелести.
Ибо мы – его дети. Из глиняной поросли,
вот из этой мы розовой, мягонькой плоскости,
и в любви, и в исканьях равны. Даже в ереси.
С тех, кто более всех фанатичен и менее
одинаковый спрос и ответы тождественны.
А я раньше понять не могла: кто во рвении,
я ведь думала им привилегии, песни им.
Я бываю такую убогой – охватишь ли? –
простираю я руки! О, звёзды, о, аисты!
Одинаково любит Марию Бог, Фатю ли,
для него всё есть мёд. Даже калий цианистый!
Долгожителей или умерших в младенчестве
он целует им щёки, их гладит, баюкает.
И меня ту, что кается – о, делать нечего .
и кричащую: «Эх, ты злодейка! Эх, бука ты!»,

и меня в раскаянии волосы рвущую,
и меня мало пьющую или не пьющую,
никакую!

В поле, или в лесу, или в куще я!

На дороге застрявшей в грязи рыжей, гуще ли,
заикающуюся, с размазанной тушью ли.

Всё равно им любима, и это взаимно.

Ибо белые лилии и сумрак дымный.

Ибо льды и завалы. И войны повсюду.

Стынь и кровь. И осины – у каждой Иуды,
соучастие сговору, пакости, блюду.

И – заржавленный гвоздь в сердце русскому люду.

Там, где белая лебедь и чистые ризы,
и отнять. И страх, и нахальнейший вызов.

О, не надо, не надо! И Суд Божий имут.

Но все Богу едины, все необходимы.

Не впервые идут осквернять русский храм,
если вспомнить историю. Я же не просто
вспоминаю – выплёскиваю пополам
вместе с кровью, где ссадины и где коросты.

Эти наши святые птенячии гнёзда,
где крылатые ангелы, Божии гвозди,
что в ладони вколочены нежно целуют:
«Аллилуйя, о, Господи, Аллилуйя!»

Даже там, где сжигали, я пепел вдыхаю,
даже там, где хулили, я слышу восторги,
засыпали камнями, где полночь глухая,
разной масти торговки, шабры, вертухаи,
всё равно всем поклон,
всё равно я всем – в ноги,
я – такая.

Окститесь! О, как же мне больно
говорить им, пришедшим из скверны, из оргий,
им поющим крамолу вблизи колокольни!
Терпелив Бог. Привык к Геростратам, Неронам –
это мелко и пакостно. Бог – Вавилоном,
прижимает к губам трубы Иерихона.
Закрывай ты лицо, прикрывай грудь и лоно.
Бог тяжёл, его вес – мегатонны.

В храмах русских то тюрьмы, то склад со пшеницей,
то конюшни, то псарни в безбожных эпохах
создавали!

А я вот иду причаститься,
хлеб, вино, словно Божью вкушаю частицу,
вот иду: ноги мерзнут, что лапки синицы,
возводя себя в степень мельчайшего вдоха.
Ничего.

Церковь вымоют. Грязь – три машины
соберут. Увезут. И отбелят, отчистят.
А я каждой травинке завидую мшинной,

что на взгорке у церкви и рыженьким листьям!

Отмываюсь, счищаюсь. Гряду. Наполняюсь.

«Что творили – не ведали!» – я повторяю.

Русь извечно жила сопричастием раю,
между войнами, бедами чужла благость.

Выходила сквозь тленья, забвенья, затменья,
русский Храм выводил её в радость и в милость.

Я кидаюсь к иконам, сбиваю колени.

Нынче я помолюсь!

Сроду так не молилась!

Ах, своди же с ума, всех бросай, увлекай и бросай.

Вы могли стать княгиней, за Мышкина замуж чего же
шлось?

В этих муках гудящих дрожите, коль кесарь – косарь.

И гордыня. И спесь. И распавшийся угольный мост.

Ибо всюду горело внутри, выжигалось какой из планет?

И не надо быть ведьмой, чтоб вляпаться в жгучий костёр.

Скорпион – вы, Настасья Филипповна, панцирь от бед
на душе вы носили, у панциря – красный узор.

Это как же могла я так зорко-то не доглядеть
в Достоевском увязшая по уши! Это не всё:

ради вас перегрызла б я провода жёлтую медь,

ради вас и не жалко под суд, даже рыбою в сеть.

Разве кто-то спасёт? Да, князь Мышкин и тот – от себя.

Его долго лечили, пытались из сказки изъять
и из этого хрупкого, звёздного, что скорлупа,
из хрустального, ох, уж мне русские эти князья.
Выворачиваться наизнанку и жгучие слёзы ловить
те, что сердцем наружу, а рёбрами строго вовнутрь.
Ваш последний любимый вам грудь разможил до любви,
растерзал до небес, ядовитей была – только ртуть
да цианистый калий, как тот скорпион – перламутр.
Это утро – убийца, его изошреннее нет.
Разве лишь красота, но святые отцы молвят: «Свят!»
и уходят к себе, ибо женщина – есть райский вред
и соблазны все в ней, словно тот скорпионовый яд.
А мучительней пыток ужели найдёшь? Но нашла.
Ибо в этом, последнем простом, дохристосовом, выжил

Пилат.

Ох, уж лучше разбиться виском да об угол стола,
ох, уж лучше бы с камнем да в прорубь, маркизом де Сад
иль тем истязателем. Ибо живую горю,
и молю об одном – лишь Настасью Филипповну убереги!
А тогда поведи, нарядив, поскорей к алтарю
ибо ей без того ни дороги, ни света, ни зги.

Нет слов таких, чтоб матерей утешить!
Нет просто слов... И жизнью нет таких.
И неба нет такого! В мире грешном,

мне расстрелявшем сердце!

Кто он – псих

или ублюдок, это сделавший? Нам больно!

Теракт, контракт – какое дело нам
до личности его? Вам не крамольно
из смерти шоу делать пополам?

У вас так никого не убивали!

В детишек ваших не стреляли! И
вас не взрывали, шарики из стали,
пружины, гвозди кровью на металле
не ввинчивали! Чтобы смерть поить,
чтобы кормить её телами деток!

Любимых,

солнечных,

единственных, родных.

Вы не рожали их. Не зачинали. Пледом,
не накрывали в холодах льняных.

Вы не поили чаем из ромашки,
вы не кормили грудью... Матерям,
как пережить такое? Рвать рубашки,
как на груди от горя? Ко крестам,
как приложить уста? К земле, как тело?

И всё равно сквозь землю слышу я:

– Я – дочь твоя.

– Я – сын твой онемелый.

– Я – кровь твоя.

– Любовь твоя!

Земля,

как будто ходуном вся ходит, ибо
дозреют пули маком на полях.

(Проклятье Брейвикам, Аль-Каидам, Хабибам,
ну что же, террорист – трусливый лях,
ты застрелился? Ты повесился? Ты умер?

В аду горишь, в печи, сковородах?)

Все на колени перед матерями.

Все! Говорю, рыдаю ли навзрыд...

Глазами их! Всех матерей устами!

И я клянусь очистить мир от быдл!

И я клянусь свою вот эту клятву
своим детишкам, внукам, детям их

всю перелить до капли винограду

вином! Горю! Везувия я – кратер

горящий!

Пепелящий! Вал девятый!

Со мною вся страна до слёз людских!

Не могу больше слушать я эту ложь,

эту фальшь вопиющую с признаком фейка!

Если ваши часы отстают на два века,

призываю Потоп! А ни морозь, ни дождь!

Чтоб метаться по берегу: плакать и выть.

Чтоб горел Вавилон, и огнём целовал он
щёки, грудь и живот, прожигая нам лбы.
О, прошу, хватит лжи! Лучше выпить цианий!
Нет великих писателей в Нижнем, глухом,
и слепом, и мещанском во граде, застоynom!
Вместо солнца – фонарь, вместо правды – Газпром,
вместо феникса – пепел. Поэтовы войны
там и тут! Вот Потопом бы это снести...
Пойте трубы ни ангелов – Иерихона!
Без искусства – закус, без поэзии – стих.
Задыхаюсь я здесь! Зажимаю в горсти
полумёртвое сердце. Я сжата – до лона,
до безумнейшей низости! Трах-перетрах,
тёрки, тётки да щётки. Спектакли про деньги!
Мне любое плечо – это скопище плах
и любая мне грудь – это, как две коленки!
Ты зачем, Аввакум, здесь дорогою шёл,
про рождение пел, что за Кудьмой-рекою?
Вот и я возжигаюсь раскольником, что ль
ты не видишь? Над башнею над шутовскою.
Никакой нет свободы – ошейник ли, цепь,
никаких нет писателей – кроме убитых!
И чем дольше, тем радостнее каменеть
(лучше бы признаваться, чем с пряником – плеть!),
и в Кремле покупная то ль мзда, то ль элита.
Да, скорее, лишь мзда. О, нет, я вам не враг.

О, нет, я вам не друг. Я вам – памятник Мёда
то, что с ложечкой правды, Почайный овраг,
где нет брода.

Неудобная правда и пропасть во ржи,
Коромыслова башня, скажу честно, чище!
Но привыкла я так к этой искренней лжи,
что мне самоубийца, сигающий с крыши,
словно птица в полёте!

Учи падежи,
не пиши слитно: «ЯтаклюблютебяНижний!»
Меня это корёжит, как вымерший Храм.
Боже, как я хочу полюбить тебя, ближний!
Полюбить тебя, враг и скупой, и бесстыжий,
полюбить всех иных тех, кто высушен, выжжен,
и наполненных, и исписавшихся! Вы же,
словно бабочки мечетесь промежду рам!

По мотивам «Войны и мир». Элен Курагина

Мы с тобою, как те две путаны. Вино
наливая в пузатые чашки банкета,
спорим, сколько их было мужчин? Мне смешно,
кто же их сосчитает? Лишь космос воздетый!
Словно пара портовых у берега шлюх,
спорят так два бомжа у помойных бутылок!
Я всех помню твоих! Вот Евгений – трубух,

мысль связал из трёх букв, на Покровке вас вдруг
я увидела, шли вы: вот – лоб, вот – затылок!
И, конечно же, враз – публикация! Да,
в легендарном журнале. Роман. Не роман ли.
Или недороман. Помню, корочки льда
на подоле репьево, пристали комами.
О, рабыня всего! Вены резать листом,
выковыривать ли, высердцовывать плахи?
А ещё – Михаил! Он крупитчатым ртом
на вокзале тебя целовал, от рубахи
пахло плесенью, похотью. После опять
твоя книга – в киосках Союза печати.
Да! Так многие женщины делали: хватъ –
переспать, перевытерпеть вчуже объятья
то банкиров пузатых, то лысых купцов.
А теперь ты – стара. Ты распухшие ноги
еле-еле влачишь. И одрябло лицо.
Впрочем, я вточь такая же. Я – из нестрогих!
Все в гробу Одиссеи, Плутархи. А мы,
как в безумье Нероны, прижавшие скрипки,
и горит подождённый наш Рим. Костромы
пережравшиеся – мы пожаром! Умы,
перееденные тараканами – пипки!
А тебе – только деньги. Ну, хватит уже,
всё равно не прилипнет ни серебро-злато,
ни турецкая лира, где профиль кушей,

чем все курвы, блудницы! И далее – матом.
Эх, Элен, так Толстой обыграл красоту,
той, что смолоду не было! Взять и погибнуть!
Надо Слову служить -
пригвождённая ртуть,
аномальная зона, где срама не имеют!
Моя жизнь, что провал, мне небесный лоскут –
это пропасть Галлеи. Я рваные кости
посшивала свои! И на шее я жгут
перегрызла. По мне доброта хуже злости!
Неприятя наши – холщовый цинизм.
Вот простые отцы так плюют на иконы,
после автокефально на гибель отчизн,
разрывая аорты, сжимаясь в поклоны!
Так и ты мне целуешь ладошку мою,
прежде гвоздь туда вбив свой кривой и проржавый!
У меня моё небо!
Под ним я лежала,
больше я ни под чем, ни под кем! Я молю:
стань хоть дымом! Хоть этим вот «Миром с Войною».
Хоть Наташей Ростовою. Она – предо мною.
Хватит спорить, уже поменялось поновой
разномастие шлюх! Вот пришли молодые,
крутобёдрые, пышно, духмяно литые!
И твой пламень потух! И пожух!
Спор старух,

где целую обеих. Люблю этих двух!

Обычно

хороший художник – плохой поэт,

хороший поэт, но плохой художник!

По горло быть в звуках, которых нет,

по локоть быть в красках, разбавленных ложью!

По песню быть в смерти. Спасая. Зову.

Сама над мостом распластав своё тело,

над ранюю вечной! Я, как тетиву

на лук нанизала. Я так отболела,

когда поняла, нет ни сердцем, каков!

И нет, ни умом, позвоночником, костью!

Я кровь выжимала из черновиков,

из фраз, что свисали рябиновой гроздью!

Никто не внимал мне Галлеевой мглой:

вы те, кто не будут отлиты в граните!

Хотя б не давите.

Хотя б не топите.

А, впрочем, я – тело над ранюю живой.

Вы так не свободны: ошейник и цепь,

увы, не свобода! И лужи лоскутья –

не воды! Но мне вас намечено петь:

художника в рифму, что в виселиц жердь

сующего голову, жил синих вздутья.

Поэту поэт – это сладкая боль.
Поэты – соперники каждый друг другу!
Я так вам сочувствую, сыплющим соль
на кровь аномалий в шмон, гомон, в юдоль.
Художник художнику – вырвать бы руку ...
И надо мне было: себя, что гадюку
за шею душить! Позвоночник спинной
наполнить какой-нибудь силой иной –
портняжной, скорняжной, охотничьей, млечной,
и жить было б проще. Дышать было б легче!
И вырвать бы глотку, зарыть под сараем.
Молюсь: не писать! Я смогу!
Не смогла я...

«А СУДЬИ КТО?»

А. ГРИБОЕДОВ

«А судьи кто?» Да, мне неважно кто!
Меня судили всякие! Благие,
слепые и глухие. Решетом
цедили всё моё – друзья, враги ли,
и влево шаг, и вправо шаг, квадрат небес.
Вся жизнь моя – всегда была восстаньем!
Вся – буревестник. Птичка. Причитанье.
И отпеванье вас, как поэтесс!
Живых – в гробу своих еловых книг.

Ах, судьи, судьи, милые мои вы!

В вас много всякого: палач, грибник, печник,
свечник и травник, прессовщик, взрывник,
мучник, стряпуха да актёр игривый!

Сожгите дудки: в топку, в печку их!

Порвите струны. Сердце с корневищем,
в котором жемчуг, в створках золотник.

Да ни костёр мне страшен, ни огнище!

Ни то, что люди – в круг: мастеровой,
банкирный, театральный, толмачёвый,
ни то, что дудки, вспыхнув, огневой
золой да пеплом на ладонях – чёрным,
а то, что я опустошусь боюсь.

Коль я беременна всю жизнь одним искусством!

И не гожусь я на иное, кроме чувств!

Новья строки! Я состою из уст
и сердца состою я среброусто!

О, судьюшки! Сударушки! Ребром,
рогатиной, булавой, ятаганом
вооружились острым топором

да бердышами, навалились рьяно
и графоманно! Дюже филигранно!

Я с вами, о, зачем-то покаянно,
видать от воспитания. Ну, пусть!

Гори, гори, моя ты самогудка,
и гусли, и жалеяка, бубна брус,

я, что раскольник ныне возгорюсь,
лишённый от отчаянья рассудка!
А, впрочем, люди собрались – король-то гол!
И гол судья! А людям зрелищ, хлеба!
А вы им – землю. Там, где просто боль –
неба...

Кто талантлив во всём – не талантлив ни в чём!
Или физик – плохой,
или лирик – ужасный.
Или высь инквизитором и палачом,
или будь ты поэтом, иль будь ты врачом,
или будь ты священником. Что тебе – страсти,
что тебе отворённые вены? Горим!
Мы в душе, как Нероном обугленный Рим
и при этом играем на скрипках в контрасте.
И сапёр, и минёр, что себя сам – на части,
а художник, так вовсе в стихах ни бум-бум!
Или:
вешать на палец покойника бирки,
или: Анной Ахматовой в сонмище дум
с Гумилевым в одной Петербуржской квартирке
жить семьёй. А иначе, ну, право, не надо!
Или будь ты поэтом, иль стань прочим всем:
музыкантом, вязальщиком или солдатом,

капитаном, уборщиком или магнатом,
но не надо туда, где крылато и свято,
это, словно растлителем да в Вифлеем!
Ты останься читателем, коль ростовщик ты,
надо мной поддержи панцирь,
крепость, защиту!

И не надо в журналах печататься, мнить
из себя, что великий. Велик ты – за деньги!
Будь стеной или деревом лучше. В тени,
чтобы путник укрыться мог, о, нет, ни-ни
не тянись ты к перу, не пиши ты элегий.
Ибо пишущий – он не спасётся в Ковчеге,
он проляжет мостом над бедою своей,
под его позвоночником стоны столетий,
по кости его можно создать всех трагедий
образ будущих,
прошлых и нынешних дней.

Да, сам Бог был поэтом и не был при этом
он атлетом, полпредом, не был он в декрете,
не курил сигареты он на факультете,
но зато сочинил дивный-дивный Псалтирь!
Как они восхитительны сны о блаженстве!
Благодати во всю неохватную ширь!
Будь собой, умоляю! Свой стих спрячь ты женский,
Магдалиной уткнись: кулачки под коленки,
и со мною поплачь по-простому, вселенски

в мой алтарь, в то щемящее, словно Сибирь!

Мне небо тверское упало на плечи!

Я воздух хватала ртом, криком и речью
в разломы, надломы, терзанья мои.

Да я и сама, может, сбилась со счёта.

Но люди, меня поддержавшие, и
свет тонкой звезды, пульсом, светом восхода,
где горечь целительная бытия,
спасибо им всем! Хватит, хватит нытья...

Я за борт хватаюсь, что чалит, Ковчега,
я изголодалась так без человека

того, кто поддержит сегодня меня!

Того, кто со мной просто так посидит
в доверье, тепле и в моём невозмездье!

Я тоже могу быть кому-то полезней,
но нет, не за деньги, не благо. А бездны,
которые с космосом сходны – в груди.

И ты помолчи. Подыши. Посиди.

Вот видишь, Ковчег, что отчалил, в пути!

Ты будь мне поэтом, Верленом, будь Блоком
Есенину. Будь даже хоть лжепророком,
ежом ли, дракончиком, устьем, истоком
на время, на час ли, на год в эту хмарь,
чтоб Рим сторожить не сгоревший, алтарь,

своих пепелищ я – охранник престрогий.
А ныне прозябла в сухую погоду,
а ныне я в жаркой пустыне продрогла
и в холоде я прогорела ожогом,
из полымя я да в огонь, пепел, воду,
пусть я единична, но вечна во многом.
Спасибо тебе! Всем, кто были со мною.
Не стою я дружбы? Наверно, не стою,
но просто тепла, просто звёзд, что погасли,
но свет их спасеньем мне, свет мне лекарством!
Избыточно-ясный, рябиново-красный,
атласный!

Воровать у воров? На рассыпанных камнях Союза,
на развалинах прежнего пир учинить, бутафорию?
Вот представьте, что мир возвращается в прежнее русло,
надо лишь прекратить переписывать нашу историю!
Надо книги на полки вернуть! И до нас тоже книги!
И не надо их жечь, ибо пальцы и так все обуглены
от кошмаров и слёз! От вражды, нам навязанной, в тигель
нашей брошенной памяти!
Душно мне! Горестно! Туго мне!
Подменяются смыслы. Сужаются правды. Смещение
всех осей на земле. Вот и хватит. Верните историю!
Раздирая пружиной весь космос. Бессмертье Кошечеево

возвернуть надо в птицу. И в зайца, в его траекторию.
Поклоняться тому, как учили нас предки. Крестильная
наша матушка Русь! Колыбельная Русь и родильная!
А не Киева-грусть! Князь Владимир наш Красное Сол-
нышко,
покажи, как управить! Владимирам всем, Леонидам ли!
В Ярославну я плачем прольюсь. В Ольгу мезтью! Ужели
потонешь ты,
наш Ковчег? Наша память в умах марсиан яйцевидовых?
Всем, кто взялся чернить нас, ворота нам дёгтем умазы-
вать,
кто Бандеру в граните отлил, кто нацистские свастики,
тем бы пальцы рубить! Неповадно чтоб было, до разу
чтоб,
вам история – девка срамная. А вы – свистоплясники
на пиру, что во время чумы! Где безглазо старухами
расплясались развратники вместе с портовыми шляхами.
В ухо им!
Всем, кто родину нашу ворует, кто тащит фундаменты,
коль Союз наш разваленный в камни. Воруете камни вы!
Вам проклятье потомков и внуков всех наших и правну-
ков!
Всё равно правда выплывет: Божья святейшая ладанка!
Как леса вырубали и как продавали китайцам вы!
Всю Сибирь разорили за доллары американские!
Наши земли святые, для вас это лишь территории!

Переписывать хватить историю нашей истории!

Самозванцы на троне, на царском воссели – не выгонишь!

Во Царьграде воссели! Чтоб дедушек грабить и бабушек!

Молодёжь в ипотеку загнали, берите, мол, выгодно.

То ли чудище правит поганое нами, татарище?

И по-русски пишете! Заглавные буквы! Согласные!

Берестовые грамотки или таблички из стали вы!

Наше время, о, что ж ты такое свершилось опасное?

Нет Сталина!

Чтобы громко стуча сапожищами в ночь или полночь ли,

приходил он во спальни к отступникам! Плащ Командо-

ровый

был бы алого цвета. И трубку курил. Китель солнечный.

Было б здорово!

– Здравствуй, взяточник!

– Здравствуй, обманщик! Преступник ты хреновый!

– Кто бандеровец? Ты! Ах, твою мать! В Лефортово в ка-

меру!

– Филарета туда же!

Истории нет иной. Время нет!

Никаких переписчиков! А извратителей

замертво!

Поломать бы им перья! Отправить туда, где изморами,

чтоб трудами вину отрабатывать вместе с убийцами.

Переписчиков прямо туда, кто историю

Всей Руси перемазал, как сладость-каравай да горчицею!

Неожиданно и бесповоротно
в вас, переписывающих мою историю,
мои детские клятвы, сандалии, боты
и пальто моё, книги, портфолио, фолио,
в вас, наёмников на такую работу,
бурлаков, что на Волге, чьи плечи изранены,
в вас – рыдаю! Кричу я – распятая в сотый,
может, в тысячный раз! Я – молюсь с придыханием,
объясняя, что нету победы над манною
той, что Бог посылает с разверстых небес!
В переписчиков, в вас шлю я кардиограмму
рваным сердцем, читайте! Кто сгиб, кто воскрес.
В соль-дизе.
Но не трогайте папу и маму.
День рождения. В мякоть зачатья не лезь!
В колыбельку мою! В Русь мою, в мою родину!
В топь берёз! В мою клюквой растущей болотину!
Ибо ты там утонешь. Там всё – аномалия!
Не касайся меня сопричастно-опальную
и оболганную! Волжский, Окский мой съезд.
Ибо это изложет тебя. Просто съест
так, как волк из моей колыбельной припевки,
как Садко тот, что в омут, как Кочина «Девки»,
где моя Фиваида, где лимфы желез

и набухших сосков, когда кормишь младенца,
прижимаешь к груди: в кружевах полотенце...
Переписчик, подёнщик – скрипит стеклорез.
И нет Слов у тебя между этих словес,
Переписана Речь, но нет речи. Лишь знаки.
Ты мне герб подменил, очернил мои флаги.
Перебитые пальцы мои дел куда ты?
Мои родинки возле запястия где?
Позвоночники-флейты, где? Тот, кто в кровати,
в моей женской на равной со мной широте,
темноте, красоте и сиротстве таком же?
Мою родину вынуть не пробуй! Везде
она! В генах. В крови. В родословной. В одеже.
И меня поднеси ты к лицу, как слезу
до церквушки, до плах всю, как есть до посконной,
до крестильной рубахи.
Всю!

А теперь отрекись от того, что наделал,
от того, что убил, что разбил, что разъял.
Я склонюсь над твоею могилой: «Ах, бедный!»
...Ах, ответь, мне ответь хоть ослепший хорал!

Как поэт Цветаева «с требованьем веры»,
я – разверстым солнцем, я – раздетым сердцем
в мир наш нестабильный, что ему все перлы?

Что ему поэзия в стон единоверцев?
Но не веры требую. Не любви. А памяти!
Чтоб не острой бритвою резать жилы, где
из одной материи, на одном фундаменте
слово, где молилась я: рдеть ему, радеть.
Не себя я пестую. За других, мне дышащих
строчками пристрельными в сердце, в солнце, грудь...
Надо же, случилось так, что поэты лишние,
мускулами, мышцами их четверостишия,
крепкими обросшие, потеряли суть.
Кто же?
Где же?
Как же вас, кто читает? Бабушки?
Два библиотекаря да ещё друзья
близкие, преблизкие! О, сиротство страждущих!
Мы, как вымирающий вид, что жил зазря.
Нет. Нужны мы, в общем-то, графomanам. Или же,
чтоб на дни рождения пару-тройку строк.
Это, точно, надобно. Это, точно, выживет.
Я – охранной грамоткой в янтарей исток
выживаю
с мёртвыми,
выпитыми, с пеплами
от мостов, крушений ли в аномальных снах.
Мной ружьё заряжено в первом акте, слеплено
слепотою Баховской, ею зрю впотьмах!

Крах! Осколки рифмами мне в ладони, гвозди ли?
Швах! И без поэзии кончится восход.
Коль ружьё заряжено, пулями ли, розами
в третьем акте выстрелит. Всё равно убьёт.

Говорим на одном языке, но тебя я не понимаю,
словно разные символы, знаки священные, память воды.
А могли быть мы сёстрами. Близкими. Дверца входная
у тебя вечно заперта, но ты кричишь мне, входи!
Я тяну к тебе руки. О, бедные, белые, тонкие.
Я тяну к тебе тело. И как ты там, как без меня?
Нас с тобой разделило. Как будто бы за перепонками
толщиной в триста лет между нами не воздух – броня!
Мы с тобой разметались. Распались на Авелей-Каинов,
на предавших и не предающих. Иуды сквозит поцелуй...
Разбросал. Раскидал. Мы друг другом смертельно изранены.

Я хотела сестрой.

Я хотела подругой.

Вмуруй

ты в себя свою память на десять веков и не менее.

Позабудь всё славянское. Кий кто? Хорив? А кто Щек?

И сестру нашу Лебедь. К лицу ль тебе это забвение?

Стыд щёк?

Не краснеет лицо ли? Не жарко ли ночью, не душно ли?

Нет раскаянья? О, как хочу, чтоб тебя моя кровная боль
изгвоздила насквозь! Обмотала бы шею. И рвущими
твою душу бы криками выплакала бы повдоль!
Эту боль бы мою ты пригоршнями в каждой посудине
ощущала, глотая сухими губами, от жажд
поизмучавшись, как под палящим, пустынным, полуден-
ным

невозможнейшим солнцем. Но я не хочу баш на баш!
И войны не хочу. Ибо я всех простила предателей,
что в тебе накопились за эти все десять веков.

Всех твоих скупердяев. Всех шлюх. Всех вокзальных по-
дателей.

И все дёгти твои. Все следы от когтей и зубов.
Даже серость всех снов, что ты мне присылала безудержно
вместо ярко-цветных и хрустальных жемчужин моих,
что из раковин выпали. Осиротелостью. Хуже бы,
я молила, не стало бы! Каждый молила я миг.

Я тебе посвящаю не фразы – забвеньё, терпение.

Зажимаю я рот свой. Молчу. Я давлю в горле праведный
крик.

Да хоть лоб расшибу. Хоть сотру пред тобою колени я.
Я – не друг!

Пирамида Хефрена ли и пирамида Хеопса
да Фаросский маяк.

Но гори он, гори, Вавилон!

Если же на предательство – спрос. А на дружбу нет спроса.

Значит, я проиграла. Медаль тебе, грант, медальон!

Из цикла «ПЬЯНЫЕ КОРАБЛИ»

«...для подвига рождена,
отечественная литература – отечественная война».

А. ВОЗНЕСЕСКИЙ

1.

Не бывает поэтов ни белых, ни чёрных,
не бывает поэтов слабых, никчёмных.

Есть лишь – поэт.

Или же – не поэт.

А остальных нет.

Развенчайте меня. Не войну объявляю.

Белый флаг кладу в руки. Бросаюсь к роялю.

Говорят, что поэты – всегда шизофреники,
алкоголики и обличители. Гении,

путешествующие в пространстве и времени,
словно птенчики.

2.

Байрон. Англия. Жёлтый туман над водою,
«Чайльд-Гарольд», словно нож над твоею бедою.

Два бокала вина. Кофе. Карты. Разлука.

И погибель в восстании, что против турков.

Раздвоение личности?

Сколько нас, тысячи?

Дорости до безумия! Вырвись, калеченый,

как на дыбе мужик: голова без предплечья.
Ибо боль вся внутри. Дыбой схвачен рассудок.
И увидишь молочное, млечное чудо
янтарями хрустящими. Литература –
это бой. И летит убивать пуля-дура.

3.

Это Бродский – последний поэт во вселенной:
Николай Чудотворец на пряжке военной.
Две недели в психушке в стенах Петербурга.
Все поэты, как крик на картине у Мунка.
Не хочу я работать. Хочу, чтобы деньги
просто так мне платили без всякой оценки,
без медалей и грамот – у Пушкина нет их.
У Есенина и Маяковского тоже.

Да плевать мне на премии, прении, вожжи!
На оценку моих современников! Пенки
всех архангельских труб! Изразцов на коленке!
Государство, плати по вселенской расценке:
морем бед,
морем слёз,
всем пожарищем сюрра.

Как же больно от слова мне: литература!

4.

Что тебе моё Слово в страстях, о, Галлея!
Разруби моё сердце, чтоб не было сердца!
Вот священник Владимир. Грешнее, святее,

но пока я вот здесь, но пока на земле я
чем мне греться?

Обжигающей болью от кардиограммы!

Её образ и почерк с приплеском пожарищ...

А поэт – он иная субстанция, манны –
ей товарищ!

5.

Все поэты, как дети. Обидчивы и жестоки.

Ради слова они человека карают!

И в проклятья сдвигаются. Ибо им створки
приоткрыты в иное. В межмирное. Краем
между Вакхом и Бахом в органы и оргии.

Я впадаю, безумная, в Миргород Гоголя,
в микрокосмосы Гашина, в тени бесстрашия.

Ибо «Красный цветок» про меня! В рукопашном я
пропадаю бою. Войны литературные,
что ветрянка, под сорок два с температурой.

Если словом по темечку, как арматурую
два водителя насмерть дерутся. Ажурными
их плетеньями трудно назвать! И коклюшками
вологодскими вряд ли, они – пампадурные.

И бездушные.

6.

Я к тебе всем восторгом Марины Цветаевой.

Ты ко мне, как Ахматова, пренебрежительно!

Виноватей я всех невиновных! Обхаяна!

Караванными лаями!

7.

Грех святых.

Сласть всех горестей.

Жажда близ питья.

Дорога безногих.

Виденья слепых.

Правда вранья.

Ум безумствующих.

Глупость гениев.

Стон битья!

Какая ж ты курва – литература,
война без победы. Небо без дна.

Ты – порно для взрослых. Где много гипюра.

Атласные простыни. Шуры-амуры.

Плоть обнажена. Беременна!

8.

Так вспори своё чрево.

Иди ты к знахарке. Сделай аборт.

Поэт аномален особенно первый.

Достоевского «Идиот».

9.

Но есть светлый момент. Например, Нобелевка,
от которой откажется Пастернак.

Или Пушкин, убитый Дантесом. Родина,
как же так?

Альфа-Центавра, где есть человечество,
там есть поэт – на тебя он похож,
голову класть чтоб на плаху вечности
да под нож!

Я – не поэт. Поэтесса. Мне проще.
Мне под топор всей берёзовой рощей.
Я уже делала так ради Слова.
Но моя роща взрасталась поновой.
Это – Елабуга и Е. Благово,
родина та, что была кумачёва,
но на осколки рассыпалась силой.
Ими меня – на куски – распрямило.

Упорно не замечая, как давится слезами бедняк,
как выполаскивается вздох из его телогрейки,
на линии сердца черта! И сквозит с неба мрак,
считая копейки.

Потихоньку выносят с черного хода мечты,
неуслышанных в нашу стужу,
как утешить мне из неутех,
выворачиваясь, как мех,
мягкой, розовой песней наружу?
Я, распятый, с тобой, где ты,
я с тобою, кто предан всеу,
пролетарий мой трудовой,

кто «ура» кричал, голосуя,
кто оставил на мостовой
своё мертвое тело косулье...

Кто – под танки.

Кто – под ружьё.

Мой народ, я с тобой, я со всеми.

Ты – последнее, ты своё
всё отдал, ты пролил своё семя
в русских женщин. Безбрежна судьба!

Но святей нет поруганных истин!

Горячее нет сорванных звёзд. И горба
нет прочнее и нет каменистей!

Кто не грешен, пусть слово бросает. Ловлю.

Голытьба, побирушка, путана.

Задыхаюсь я в крике. Пускай улю-лю
ты мне вслед. Всё – небесная манна:
я, как старая мать бесталанных детей
своих бедных, как вечная рана.

Неужели разденут нас всех до костей
в пользу срама?

И какому молиться теперь нам царю
Николаю? Лжедмитрию? Пану?

Коль к последнему тянутся сухарю.

А народ отдаёт со словами: дарю
с маком, пряный!

Трудовые мозоли на пальцах старух:

они шпалы таскали на шпалозаводе.

И распухшие ноги. И взгляд их потух.

О, прозреньё слепых. Сотни – сотен.

Крик – молчавших.

Раскаявшихся Магдалин.

Слух неслышавших. Сладость огорчённых и горечь

всех услащенных. Видит ли вас Божий сын,

достаёт ли он с полки Златой свой кувшин,

шлёт ли помощь?

ПОЭТЕССАМ

Ваша жизнь, ваши строки, ваша судьба,

вижу ваши кудрявые светлые головы,

поэтессы! Морщинки куриными лапками, что возле лба,

обнажённые рифмы пронизаны нервами голыми.

Треугольник Бермудский, поломаны все корабли,

Стоунхендж – инженерное чудо на камне висящий.

Если ваши воздвигнутые в небесах алтари

созерцаю незрячей вселенной всё чаще я, чаще.

Продвигаюсь на ощупь! Вот травы, вот рощи, листы,

вот трамвай, как цветок на ветвях проводов тёмно-алый,

вот одежды раскинуты, тёплый поток наготы

до ключиц. До изнанок.

Сестёр в вас своих узнавала.

Много раз говорила себе: не давай им совет!

Но, увы, вот сейчас я его вам даю, хоть не надо.

Никогда – лучше голову в петлю, к виску пистолет –
но не жалуйтесь людям. Вам их утешать, а не падать!
Не просите сочувствия, жалости, денег, щедрот,
не пишите в сетях социальных про ваши мытарства!
Поэтесса – не просто, чтоб в рифму слагать. Ей – исход
по следам Богородицы,
чтобы иссохший свой рот
наполнять невозможнейшим: «Здравствуй, не верящий,
здравствуй!

Не приемлющий, здравствуй! Привет, отрицающий мя!»
Как у Лермонтова, помнишь ли? Твоя грудь – моя плаха!

Пусть другие кричат: я – поэт, начиная с нуля.

Поэтесса – всегда с сотворения мира, со взмаха!

И не жалуйся, что подражают, дурёха, тебе!

Принимай это так, словно нищий у церкви алтынный!

Если б знали, как мне подражают, мне – Божьей рабе,
сколько вынесла я на себе, на плечах, на горбе...

И не жди, что похвалят. О, только не это отныне!

Неурядицу вечную ты переплавь в золотник
покаянно! Обидевшим ноги целуй, рухни рядом!

Умоляй! До костей раздевайся в разверстый родник,
насыщайся, сражайся!

А, впрочем, тебе это надо ль?

Обезглавленной Антуанеттой, сожжённой Д'Арк
и убитой любовью к нелюбящим, разве такая
сопричастность нужна? Я скорблю, я сочувствую так:

ибо, небережённая, я тебя оберегаю!

Мне двадцать лет. Осенних улиц грязь.
Больница женская – шприцы, лекарства, марля.
«Блудницы!» – медсестричка матерясь,
прошла в палату.

Я дрожу.

Под шалью

мне холодно. И сразу горячо.

Запахиваюсь в ситцевый халатик.

Ужель таблеток всем, кто хочет, хватит?

И тот мужчина, первый, – палачом
и гильотиной – мне его плечо
и рук объятья?

Он сжёг меня. Теперь моё нутро
не айсберг и не океан ледовый.

И зря волхвы понапасли даров,
и гнули зря богатыри подковы.

О, научите, сёстры, вы теперь
не плакать Ярославну! Ибо скоро
лихие девяностые! Потерь
удвоится. Лишится свет опоры.

Но близкое, родное, как терять?

В кишащих зеркалах хирурга столик...

Отсюда, здесь я примеряю роли:

ни девица, ни мать, ни полумать!
О, тело женское, манящее, литавр
не хватит, чтоб воспеть тебя во страсти!
Рассудок потерял Отелло-мавр
И Гамлет!

Мир, разорванный на части
во мне скоблил бессмертное дитя!
Я помню этих женщин в токсикозе,
походки шаркающие, словно шелестят
сухие листья астр, рудбек, амброзий.
Ещё я помню на стене плакат:
«Мать и ребёнок!» – это очень просто,
и в пятнах крови ситцевую простынь,
и «всё про это», и сильней в стократ
по телевизору, чуть за полночь, разврат,
давалки, шалашовки и дома
терпимости. А нынче разве лучше?
Нас Достоевский учит, учит, учит.
Толстой нас учит. Век сошёл с ума
от денег.

Как же пахнет шаурма,
когда выходишь прочь из отделения!
...Спит дочка, кулачки зажав в колени.
Ей не дожидаться своего рожденья!

Это он – Кузнецов! И ещё его слово «виденье»!

О, какое оно – восходящее, с корнем внутри.

Вглубь уходит оно между Азией нашею древней
и Европой, как дерево цепится кроной, парит.

Сколько слов поисчезло, завязло в шаблонах, а это –
Кузнецовское, как после бури в ожогах – свежо!

Послемолнииево!

И надмолнииево! И воздето

оголённым под двести, под током – убьёт и сожжёт!

Это слово, что символом мне, Иггдрасиль – слово- кос-
мос!

Населённое множеством разных существ, понимания,
рун.

Не сама ли его восклицала я больно и остро,
восклицала: «Рожаю!» и корчилась в мареве лун.

Это слово – вещун!

Прозревая в него, проникая в него. После, после
восходя, воскрешая. И мне Кузнецов говорил, говорил
то, что я – истеричка! Истерика – это ремёсла.

Вся поэзия наша – истерика! Он – сторожил!

Сторожил пепелищ! Он – охранная поступь виденья.

Иггдрасили его возрастали, хрипя и давясь.

Но он первый воспел, первый выдохнул и, тем не менее,
он сцепил позвоночником, рёбрами этот каркас!

Нет, не кость я – ребра его! Я лишь в его магнетизме,
в зоне русского слова и в крепости русских щитов.

Ибо каждый поэт в Иггдрасиль его вещей нанизан
и над болью витает воздвиженных вечных мостов.
Помню наши я встречи в музее, на кафедре, улице.
Помню снег и капризное это: «Сюда не ходи!»
«Сын ошибок» у Пушкина, но только стоит зажмуриться,
дочь – ошибок я трудных, а опыт пылает в груди!

Не с ума ли сошла ты, девица? Не с ума ли сошла ты, крас-
ная?

Посадила бы лучше деревце, приласкала сыночка ясного!

Ты же – в тонких чулочках, в платьишке, что чуть-чуть
прикрывает трусики...

Слышу я – это хрустнула матрица всей земли под людской
нагрузкою!

За платочек цветастый, яблоко, за кольцо, жемчуга да
яхонты –

к нам из древности, время зяблого, из горнила (Не сло-
вишь плахами,

не испугом, кнутом не вытравишь) – покупное ты тело
бабское!

Ни судьбой, похвальбой, субтитрами, ни какими не вы-
драть красками!

Вот стоишь на шоссе. Качаешься, словно яблоня. Груды
спелые,

аратные, горностаевы. Кто ж ваял тебя, каменелую?

Всех блудниц оправдать могу запросто. Всех Катюш, что в романе, Масловых!

Я сама была временем сцапана, торговала хореем, анапестом.

На трёх службах горбатила – дворницей, санитаркой, уборщицей, поваром!

Ни судья я. Ни ангел. Ни скромница. И ни снежная баба ведёрная.

Вас в порту, где солдаты, матросы ли пруд пруди, да в домах терпимости –

всё равно отрастить хочу космосы и призвать хочу к падшим – милости!

Вон той нищей – рюмаху красного. Наркоману – доз марихуановых.

Проститутке – по Блоку страстному, по поэту в страстях путановых!

Мне везло на учителей.

Одною из них была Мария Антоновна.

И когда в магазине вижу антоновку,
то беру яблоко в руки. В нём мёд, елей...

А ещё были у меня учителя –
вся литература русская это тоже учитель!

И ещё, когда начинаешь в сотый раз с нуля,
и кричишь всем ветрам – рвите!

А когда по-язычески кланяешься всем дождям
атмосферным, кислотным, серным с примесью йода
на размытой до глины дороге, когда непогода
среди леса, луж и глубоких ям,
дождям, словно учителям!

И кричишь, руки воздев, посреди полян
в горицветах, ромашках: «Закрой, небо, кран!»

А оно, словно в тысяче шрамов и ран
из моей груди выполаскивает, вымывает, чтоб вновь по
нулям.

А ещё мальчик в подворотне
с ножичком – просто так, попугать!

А я всю жизнь задыхаюсь после такого испуга.

А ещё бабушкина в ситцевых бликах кровать
наподобие доброго друга.

Учитель может целить, волхвовать.

Даже луч света. Даже котёнок пищащий – учитель,
когда ты спасаешь его дрожащего! (Так твою мать!)

Покупаешь еды, молока, наполнитель.

А я всю жизнь учусь добру,

например, у старухи (её бросили родственники),
например, у побитой собаки, прячущейся в конуру,
чем-то больше, чем сердце – поступью, россыпью,
растерзанной космической блёсткою, осыпью.

Я учусь добру каждый день по утру,
даже если мне в землю жёсткую!

Високосную. Подколёсную. Медоносную.

Стоп! Тпру!

Был ещё один учитель – моя любовь.

Он такой величавый, из разряда гениев!

Он был поэт. Юрий Кузнецов.

Он умер в день моего рождения!

«С твоей груди на плаху перейдет...»

М. Лермонтов

Как поэтам завидовать мне? Подскажи-научи!

Ибо, видя поэта, мне хочется вынуть верёвку...

То ли травма зачатия в жёлтую темень ночи,
то ли травма рождения, то ли времён жеребьёвка?

Не осуждаю.

Люблю!

Либо в списке одном,

словно в санкциях я, всё запретно – глаза, память, руки.

И одно лишь открыто, как будто Вийону дурдом,

и одно запредельно – кипящие в омуте звуки.

Мне так больно порой понимать занебесную связь,

ты как будто с петлёю на шее, к виску с пистолетом.

Как завидовать мне? Ты – поэт, а не царь и не князь.

Ты зарёванный весь, ты заплаканный, ты – лишний третий.

Гастарбайтер, как будто водитель, уборщик хламья.

На дворе не серебряный век и не эсэсэсэрный.
Здесь провальная зона. Трясина. Когда воробья
отличить от жар-птицы не могут – ни стать, ни размеры.
Поколение иное. Без строчек и без запятых.

Я кричу в своё эхо, и эхо меня понимает.

Мне хотелось завидовать бы, но над болью мосты
я скрепляю своим позвоночником, крепь ледяная
до тех пор, пока не зацветёт в моей пряной крови,
я кладу свою голову рифмам и ритмам на плаху.

Мне уже всё равно голова упадёт ли? Увит
лоб колючками, маками. Плач Андромахов
в каждой жилочке пульсом... Скажи мне, я разве пишу?

Пуповиной с ребёнком во чреве я связана слитьем.
Словно ломки во мне, наркоманом ищу анашу.

Как последняя нищенка.

Как последняя нищенка.

Руки ко мне протяните!

За стихи денег нет. Не дадут. Лишь из горла кусок
будет вырван последний и клоч переломанный правды.

Изошрённей нет пыток. Как будто под поезд бросок.

Ну вас, к ляду!

Сделать выдох и вдох. Не пиши, не пиши, не пиши.

Вырви рифмы из сердца. Не сможешь? Так сердце рви то-
же!

Вымирающий вид. Краснокнижный! Не внемлющий лжи.
Птица дронт с золотистой кожей.

В Рождество всё иное: мосты, берега, что ажур,
Рождество просочилось в нас через планеты, сквозь кожу.
Вот вяжу ползунки я, носочки из нити вяжу,
сын родной мой – наш, твой, мой, сын Божий!

Как же можно так, чтобы беспомощным, чудным маль-
цом?

Как планету спасти можно, чтобы младенцем? Как мож-
но?

О, виденье моё! Там, где в дивном бесстрашье крыльцо,
белоснежные овцы. И нити! Их отсвет крепёжный!

Не из них ли вся пряжа моя? Да, наверно, из них.

Не оттуда ль клубочки из шёлка, из шерсти старинной?

У тебя, ах, кровинка моя, этих дней расписных, пресвя-
тых,

у тебя – именины!

Нынче мир, словно замер. Нет места вражде, дележу,
если в старом сарае, пронизанном ветром, родился:
пеленает Мария младенца.

А я вот вяжу,

словно морду овечью ласкаю, кудлатое рыльце.

Словно тычутся в руки зверята. Пронизана ткань
всего мира неведомым, сладким, тугим Вифлеем

Не убий!

Не кради! Возлюби! И так больно не рань!

О, спаси нас всех Сын Божий мой! Он – сумеет!

Что кричишь ты, народ? Возвещая, идут пастухи.
Мы – потомки волхвов, пастухов, возвещателей. Ибо
все с дарами сегодня. Здесь запах миндаля, ухи,
чеснока, мандаринов и жареной с зеленью рыбы!
Что толкаешься возле яслей? Восходи на крыльцо.
Погляди на младенца. Как грудью он кормится, как он
предваряет о жизни превечной! Целуй же лицо,
эти пальчики, ножки!
Небесно. Земно. Безвозвратно.
О, не стой. Не студи этот хлев, этот вещий сарай.
Вот учусь из молитвы выплакивать слово «спасибо».
А из боли вынашивать вещее это – воздай!
А иначе – погибель.
Целовать и вдыхать из прогрызенной мякоти неб
невозможно родное сыновье любимое тело.
А за окнами снег. А за окнами снег оголтелый.
Очертанья, что вплавлены, контуром в тёплый вертеп.

Когда идёшь в одном ты Крестном ходе,
ты причастившаяся, волнам городским
аки по тверди! Вместе, в плоть, в народе –
слиянная я, что спекалась в утробе
вот этой улицы. Не кинь, молю, не кинь!
О, сколько здесь порушенного было.
Мне на колени пасть у мостовых

пред куполом, пред каждою могилою
затопанной! Святее нет таких.

Обиженных, униженных, распятых,
гремящих стеклотарой, нищих здесь
у кованых ворот, придурковатых
не счесть!

Кому-то даром. Им же всё не даром.
Кому-то грешно. Им безгрешно в старом,
немодном одеянии ночь-днесь.

Мы все в единой массе. В Крестном ходе:
над куполами птицы в хороводе,
сороки, сойки, голуби, грачи.

Молясь, молчи!

Я – бедная сегодня,
я – публика твоя, мой Волжский ход!

Здесь море-океан, Ока и Волга
сливаются, сцепляются в приплод.

Кто с детками, кто просто так, кто с мужем,
я лишь песчинка, комышек я – суши,
в скирде иголка!

Но здесь с тобой, рабочий люд, но здесь с тобою.

Молотобойцы, рыбаки, ткачи, вахрушки,
две стриптизёрши да малец и дед с козою,

ещё актриса, говорят, она с шизою,

но мы все братья, все мы сёстры – кольца суши!

На этом море. Море белом, разливанном.

На Антарктидовом. На Китеградье вместе!
Подставь ладони для своей небесной манны,
целуй нагрудный, под рубахой гретый крестик!
Да, публика я – публика из публик!
Но мне так лучше со иконами, не тесно,
чем восседать так одиноко без возлюбья
в ряду, где кресло!
Но если честно, если честно, если честно
вот скоро всхолмие. Нам, выжившим от века,
пересказать вот в этом чохе, в этом звоне,
пересчитать потери наши в беззаконье,
держа в руках не похороненное древко!

Светлана Геннадьевна Леонтьева

Нижний Новгород, Россия

член Союза писателей России с 1997 года

Родилась на Урале. Публиковалась с 10 лет в изданиях «Красноуральский рабочий», «Вечерний Свердловск», затем в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Москва». «День поэзии», «Московский вестник», «Медвежьи песни», «Невский альманах», «Волга. 21 век», «Подъём», «Литературная Россия», «Нижний Новгород», «Вертикаль. 21 век», «Дон», «Антология. Поэзия делает землю красивой», «Антология лучших строф столетия». Участница, гость, член жюри ФЕСТИВАЛЕЙ – «Мировоззрение», «На крыльях поэзии», «Волошинский фестиваль», «Русский смех». Автор

31 книги прозы и поэзии. Постоянный автор «Дня литературы». Награждена многими литературными грамотами, благодарностями, значками, стихи и проза внесены в разные лонг и шорт листы. Участница конкурсов, награждена золотым дипломом «Ковдория», «Золотое перо Руси», «Бриллиантовый Дюк».

С 1999 года главный редактор литературного альманаха «Третья столица».